

International

Literary

magazine

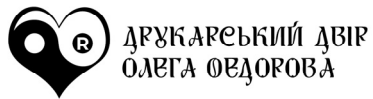
ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК ЧЕЛОВЕК С БЕЗУПРЕЧНЫМ ВКУСОМ

Евгений  
ДЕМЕНОК

ЧЕЛОВЕК  
С БЕЗУПРЕЧНЫМ  
ВКУСОМ



БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»  
ПОЕЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА





**Евгений  
ДЕМЕНОК**

**ЧЕЛОВЕК  
С БЕЗУПРЕЧНЫМ  
ВКУСОМ**

**Друкарський двір  
Олега Федорова  
Київ, 2024**

УДК 821.161.1'06(477)-312.1

Д-30

СЕРІЯ «Библиотека “КРЕЩАТИКА”»

Заснована у 2023 році

**Деменок Е.**

Д-30 Человек с безупречным вкусом/Е. Деменок — Друкарський двір Олега Федорова 2024 — 160 с.

ISBN 978-617-8477-20-2

Новая книга рассказов Евгения Деменка — это калейдоскоп событий, имён и стран. Реальные факты биографий художников и литераторов переплетаются тут с художественным вымыслом, сновидения дают ключ к разгадке запутанных историй, и тонкая грань между правдой и мистификацией не всегда различима.

**УДК 821.161.1'06(477)-312.1**

ISBN 978-617-8252-14-4 (серія БК) © Деменок Е., 2024

ISBN 978-617-8477-20-2

© Федоров О.М., видавець, Київ 2024

## ТЦАРА БЕЗ БРОВЕЙ

Ночь была дождливой. Мы с женой лежали в кровати на втором этаже пражской виллы Винтерниц, кутались в толстые одеяла и с некоторым испугом прислушивались к незнакомым звукам, время от времени доносившимся из глубин дома. Те, кто когда-то в первый раз ночевал в большом и чужом доме, нас поймут. Собственно, как я уже сказал, это был не просто дом, а построенная знаменитым Адольфом Лоосом вилла, и мы ночевали здесь впервые. К счастью, все три двери, ведущие в спальню, закрывались на ключ, и мы предусмотрительно провернули их изнутри на все обороты, оставив, однако, приоткрытым окно, ведущее на террасу. Дождь шумел за окном, барабанил по крыше и полу террасы, и я долго ворочался, перекладывая подушку то в изголовье кровати, то в её ноги в поисках лучшей позиции для сна. Сон долго не приходил, а когда всё же пришёл, оказался более чем странным.

В большой, залитой светом мастерской какого-то художника, с холстами, повёрнутыми к стенам, и большим мольбертом посредине, о чём-то оживлённо беседовали трое мужчин и одна девушка. Я почему-то не слышал ни слова из их разговора — словно смотрел немое кино. Один из мужчин, постарше, с почти демоническим лицом, разворачивал перед тем, что помоложе, какие-то большие листы, судя по всему, чертежи. Листы эти постоянно задевали шахматы, стоявшие в сложной позиции на доске, но это никого не смущало. Второй, невысо-

кий, с моноклем в глазу, внимательно рассматривал чертежи, не забывая при этом время от времени обнимать миловидную девушку приятной полноты, периодически шепча ей что-то на ухо, отчего та каждый раз начинала хохотать, закидывая голову назад. Третий, художник — догадаться об этом было нетрудно по испачканному красками халату — с улыбкой смотрел на всех троих, периодически что-то им говоря. Идиллия эта прекратилась в один миг — они одновременно повернулись в мою сторону, словно до этого не догадывались о моём присутствии, а тут вдруг заметили, в одну секунду замолчали, и улыбки на лицах всех четверых сменились замешательством и даже тревогой.

Прямо-таки немая сцена из «Ревизора».

Тут за окном громыхнуло с такой силой, что я проснулся. Проснулся и не сразу понял, куда пропали все четверо. Казалось, секунду назад они ещё были в комнате.

Дождь тем временем шумел всё громче, однако начало светать. Вылезать из-под одеяла не хотелось, и я снова забылся коротким тревожным сном. На сей раз он был без сновидений.

В отличие от ночи, утро было прекрасным. Робко поначалу пробившись сквозь тучи, солнце постепенно растопило их своим теплом, и мы вышли в сад, чтобы выпить кофе под большой черешней, с которой уже можно было смело срывать плоды. Черешни в этом саду росли уже тогда, когда Йозеф Винтерниц, преуспевающий пражский адвокат, заказал Адольфу Лоосу проект для своего дома. Конечно, он прекрасно знал, кто такой Лоос, и понимал, что его новое жилище будет выглядеть революционно даже для привыкшей к экспериментам Праги. Понимал он и то, что, скорее всего, заниматься строительством будет вовсе не Лоос, а его многолетний чешский соратник, пльзеньский архитектор Карел Лгота. Но для того, чтобы

твой дом вошёл в историю, достаточно подписи Лооса под чертежами. В конце концов, тот был уже совсем болен — и вилла Винтерниц стала его последним законченным при жизни проектом.

Мы влюбились в этот дом с первого взгляда. Удивительно было находиться там одним — сидеть в креслах в зале, листать книги в библиотеке, завтракать в столовой и даже принимать душ в ванной. Я и не предполагал, что простая чёрно-белая гамма плитки вызовет у меня такой восторг.

А терраса... Терраса, с которой видна вся Прага, оказалась чуть ли не главным местом в доме.

У Лооса нет ничего лишнего. Кажущиеся аскетическими интерьеры восхищают своей гениальной простотой. Солнечный свет, пробиваясь сквозь жёлтые шторы, делает комнаты теплее. Красный линолеум на полу в комнатах, морковный с синим на лестнице кажутся удивительно гармоничными. Ну, а гостиная, с белым цветом стен, деревянными панелями и кирпичным камином, выглядит роскошно и безукоризненно.

Ещё вечером, на экскурсии, мы узнали о трагической судьбе еврейской семьи Винтерниц. После завтрака мы вновь разглядывали фотографии их всех — самих Йозефа и Дженни, их детей Петера и Зузаны, внуков и правнука. Попытались разобрать мелкий почерк на копиях документов — вот подпись Лооса, вот письма Лготы к Винтерницам с просьбой заплатить ещё денег, потому что он отдал Лоосу основную часть, а тот свою часть работы не сделал... Эстетический восторг, волнение от соприкосновения с историей смешивались с саднящей грустью. Когда в 1941 году нацисты конфисковали виллу, семью Винтерниц отправили сначала в Терезин, а потом в Освенцим. Мужчины погибли в газовой камере, женщины, работав-



шие у станка, чудом выжили. И даже попытались вернуть себе свой собственный дом, в котором после войны долгие годы располагался детский сад, но новая, уже коммунистическая власть ввела такие налоги, что им пришлось договориться с государством о передаче ему виллы просто за их списание. Дженни с Зузаной так и не смогли вернуться домой.

К счастью, после Бархатной революции виллу наследникам вернули, те смогли её реконструировать и вдохнуть в шедевр великого архитектора новую жизнь. Жизнь, в которой есть место не только концертам и выставкам, но и приватным ночёвкам для смельчаков.

Да, утро было прекрасным, но сон всё не шёл у меня из головы. Во-первых, он был необычайно ярким. Во-вторых, интригующим, ведь я сразу узнал двоих из тех четверых, что находились в комнате. Собственно, человека с демонической улыбкой невозможно было не узнать — у Лооса была очень характерная внешность. Мужчина с моноклем был, несомненно, Тристаном Тцарой, кумиром определённого периода моей молодости.

Двух остальных я не знал, и теперь главным моим желанием было узнать о том, кто они, и понять, что вся эта сцена означала.

Подробно рассказать жене о своём сне получилось лишь вечером.

— Постой. Тебя же кто-то приглашал в пражскую мастерскую Тцары, — тут же сказал она. — Ты ещё удивлялся — разве он бывал в Праге?

И точно. Как я мог забыть? Пётр Банков, выдающийся дизайнер, давно приглашал меня в свою студию и упоминал, что в ней когда-то останавливался отец-основатель дадаизма.

На следующий же вечер я был у него, в чудесном доме на Яначковой набережной, прямо у Влтавы.

— Разве ты разве не знал, что у Тцары был роман с чешской актрисой Наташей Голловой? — удивлённо спросил Банков. — Они познакомились в Париже, а потом, когда он приезжал в Прагу, он останавливался здесь, чтобы быть поближе к Наташе, которая жила в соседнем доме.

— Откуда ты это знаешь?

— Соседи сверху рассказали. Уже после того, как я купил эту мастерскую.

Это звучало настолько невероятно, что я, конечно же, не поверил. И, вернувшись домой за полночь и в приподнятом настроении, погрузился в Гугл.

Наташа Голлова, урождённая Ходачова, своё имя получила в честь Наташи Ростовской, а псевдоним взяла в память о деде, историке Ярославе Голле. Родилась в богатой семье в Брно, с детства изучала танец и актёрское мастерство, говорила на пяти языках, ездила верхом и музицировала. Отец её был членом парламента, профессором Чешского технического университета, старший брат стал знаменитым автогонщиком. В 1932-м она снялась в своём первом фильме, комедии «Идеальный школьный учитель». Комедия станет её коньком.

В том же году двадцатилетняя Наташа впервые попала в Париж. Вместе с танцевальным ансамблем она завоевала на международном конкурсе бронзовую медаль, а ещё встретила свою первую любовь. В мастерской у Йозефа Шимы, которому она позировала, она познакомилась с Тристаном Тцарой. Бурный роман длился несколько месяцев, но, в конце концов, она решила вернуться домой. Тцара за ней не поехал.

Карьера её стремительно развивалась — она входила в труппу Театра на Виноградах, а в 1939-м снялась в комедии «Ева делает глупости», которая принесла ей неверо-

ятную популярность. «Лида Баарова — самая красивая, Адина Мандлова — самая соблазнительная, а Наташа Голлова — самая образованная», — так говорили о трёх главных звёздах чехословацкого кинематографа периода Первой республики.

После Второй мировой всех троих обвинили в сотрудничестве с нацистами.

Если говорить о Голловой, то сотрудничеством это можно назвать с большой натяжкой — в кино она снималась не часто, но, правда, закрутила роман со «смотрящим» за чешским кинематографом, продюсером Вилли Согнелем, и несмотря на то, что после войны она волонтером поехала в концлагерь Терезин, где заболела тифом, этой связи ей так и не простили. В кино она вернулась лишь в 1951 году, но былой славы уже не снискала.

А в марте 1946-го в Прагу приехал с лекциями Тцара — и, конечно же, сразу встретился с Наташей. Вот тогда-то он и останавливался то ли у неё, то ли по соседству. Наташа жила в доме номер тридцать три, мастерская Банкова находится в доме тридцать первом. Всё сходится.

Правда, в Париж Тцара вернулся сам — Наташа была невыездной. А год спустя она вышла замуж за режиссёра Карела Константина, который помог ей вернуться на сцену. К несчастью, он был алкоголиком, а в семейной жизни болезнь эта заразная. Несчастливая и полузабытая Голлова умерла в возрасте семидесяти шести лет в своём доме на Яначковой набережной.

Итак, картина начала проясняться. Двое остальных в моём сне — это, вне всякого сомнения, Шима и Голлова. В общем, я узнал всех четверых. Ликованию моему не было предела.

Теперь оставалось понять, почему все они так напряглись, увидев меня в мастерской. Ну и, конечно, что всё это вообще означало.

Утром я рассказал обо всём жене.

— Ты уверен в том, что они увидели именно тебя? — с иронией спросила она, прослушав подробный рассказ о моих потрясающих открытиях.

Сначала я возмутился, но потом...

— Ты права... Мне ещё показалось странным, что я смотрел на всех свысока, как будто был высокого роста, и даже во сне это меня удивило.

Весь день я перебирал и отбрасывал варианты, и вечером, не выдержав, вновь усадил жену перед собой.

— Давай порассуждаем вместе. Дело происходило в Париже? В Париже. Там бывали все, потому гадать можно бесконечно. Попробуем сузить поиски. Кем мог быть мой герой? Художником? Вряд ли. Художником там был один Шима, а поразились моему появлению все. «Я» был чехом? Тоже не подходит, вряд ли Лоос и тем более Тцара знали так много чехов, чтобы сразу узнать меня...

— Постой. В каком это было году?

— В тридцать втором, Голлова была в Париже только тогда.

— И кто, говоришь, её обнимал?

— Тцара.

— Он был к тому времени женат?

— Сейчас погуглю... Да, был, на шведке Грете Кнутсон.

— Она была высокой?

— Скорее всего...

— И что тебя теперь удивляет?

Иметь умную жену — большое преимущество, но иногда это уязвляет самолюбие и понижает самооценку.

В общем, загадка была разгадана. Можно было возвращаться к привычной жизни. И я вернулся, но сон всё равно не шёл у меня из головы.

Версия жены казалась правдоподобной, но я почему-то в ней сомневался.

Наверное, так проявляло себя уязвлённое мужское самолюбие.

В общем, я решил поглубже изучить биографию всех четырёх. Оказалось, что Тцара с Гретой разошлись только в 1937 году. Это, правда, ровным счётом ни о чём не говорило. Была загвоздка посерьёзней. Во-первых, Лоос окончательно вернулся из Парижа в Вену в 1928 году. Во-вторых, в 1932-м он уже тяжело болел. Последними его работами стали проекты той самой «нашей» виллы Винтерниц и нескольких квартир в Пльзне. То есть никакие чертежи вместе с Тцарой он в 1932 году в Париже рассматривать не мог.

Версия с ревнивой женой рассыпалась на глазах.

— Ты ко мне опять со своими парижскими друзьями? — насмешливо спросила жена, когда я предложил ей поудобнее усесться в кресле и выслушать меня внимательно.

— Да.

И я рассказал ей о своих находках.

— Ну, это уже полный кавардак. То есть такая встреча физически не могла случиться?

— Получается, что так. Вернее, могла, но без Лооса.

— Может быть, он приснился тебе потому, что мы ночевали в построенном им доме?

— Не знаю. Не думаю.

— Тогда, если мы не привязываемся ко времени, ищи логические связи. Ты же знаешь, что сон — это небывалая комбинация бывалых впечатлений, — сказала жена и ушла жарить битки.

И как можно умудриться совмещать в себе совершенство во всём?

Я лёг спать, чувствуя, что очередной день прожит не зря.

Но утром червячок сомнения продолжил свою работу.

Каких бывалых впечатлений, если до этого злополучного сна я ничего о Голловой не знал, Лоосом особо не интересовался, биографию Шимы знал лишь вскользь, и только Тцара был моей давней любовью?

Но в любом случае поиск логических связей был единственным выходом.

Итак, что могло связывать всех троих? С Тцара и Голловой всё понятно — они познакомились у Шимы в мастерской. Портрет Наташи работы Шимы, датированный как раз 1932 годом, хранится в региональной галерее чешской Йиглавы. Выбивается один Лоос.

Причём я был уверен, что он приснился мне не зря.

В общем, нужно было срочно досмотреть сон.

А для этого снова остаться на ночь на вилле Винтерниц, заплатив за это удовольствие триста долларов.

— Тогда был наш юбилей. И вдруг тебе ничего не приснится? — разбила моя надежды жена.

Снова потекли рабочие будни. Я написал пару очерков, сделал десяток коллажей, помог клиентам купить пару квартир и проконсультировал с десяток желающих оптимизировать персональные финансы.

Рабочая рутина затягивала. Несколько месяцев пролетели незаметно.

Иногда я забывал о своём сне совершенно, а иногда испытывал невероятный исследовательский зуд и желание во что бы то ни стало разгадать загадку.

И в один прекрасный день я всё вспомнил.

Во второй, кажется, наш приезд в Париж мы жили на Монмартре, в квартире Рады Аллой, многолетней приятельницы Бродского. Показывая нам давно ставшие легендой достопримечательности своего округа, показала она и дом Тристана Тцара.

Он был спроектирован и построен Адольфом Лоосом.

Лоос, которому Тцара заказал в 1925 году проект шестизэтажного дома на авеню Жюно, 15, находился к тому моменту в самом зените славы. Он реализовал множество проектов, самым известным из которых был знаменитый дом «Голдман и Салач» на центральной венской площади Михаэлерплатц, прямо напротив Хофбурга. Дом этот, сразу же названный «домом без бровей», то есть без лепнины на фасаде, вызвал у современников шок. Его возненавидел сам император Франц Иосиф I. Говорят, чтобы его не видеть, он приказал навсегда задёрнуть шторы в одном из залов своего дворца. Стройку даже приостановили, но Лоос согласился декорировать окна фасада цветочными горшками.

Теперь этот дом, понятное дело, является культовым сооружением и одной из достопримечательностей Вены. Так же, как дом Тцары на Монмартре — тоже «без бровей» — стал одной из достопримечательностей Парижа.

Итак, я увидел его впервые во время второго нашего приезда в Париж и сразу же подумал о том, откуда у авангардного поэта, выходца из румынской еврейской семьи Шмулика Розенштока, который из-за своего происхождения даже не мог до 1918 года получить румынское гражданство, появилось столько денег, чтобы заказать дом наимоднейшему архитектору современности?

Ну, подумал и подумал.

Пожалуй, самым эпатажным проектом Лооса парижского периода стал тщательно продуманный, но так и не построенный дом для великой Жозефины Бейкер. Великая танцовщица вдохновляла многих. Александра Колдера — на создание серии проволочных скульптур, Пикассо и Матисса — на новые холсты, Гертруду Стайн — на стихотворение. А великий Ле Корбюзье рисовал её обнажённой, после чего построил свою знаменитую Виллу Савой.

Лоос тоже не остался в стороне. В 1928 году он спроектировал для Жозефины дом — с мраморным фасадом в чёрно-белую полосу. Дизайн был совершенно революционным. Правда, он резко контрастировал с видом шато де Миланд — замка, который Бейкер купила десятилетием позже. То есть, вряд ли бы ей понравился. Вероятнее всего, Лоос сделал этот проект в целях саморекламы, никак с ней при этом не контактируя, и хвастался им перед искушённой публикой.

В общем, если бы Жозефина узнала о том, что Лоос показывал проект публике, уверяя, что согласовал его с заказчицей, она бы точно вознегодовала.

Ну что же, это была вполне рабочая версия. Хотя, откровенно говоря, я сам не особенно в неё верил.

Вечером, усадив жену перед собой, я рассказал ей о своей догадке.

— Возможно, это и является ключом к разгадке всей этой истории! — с напускной торжественностью сказал я.

Женя с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться:

— Забавная версия, не выдерживающая никакой критики. Во-первых, Бейкер была бы только рада тому, что всемирно известный архитектор предложил ей свой проект её дома. Если она не стеснялась танцевать обнажённой перед Ле Корбюзье и полными залами, что могло её тут смутить? Во-вторых, зачем бы Лоос показывал свой проект Тцаре, если дом ему уже построил? Ну, хорошо, не будем обращать внимания на такие условности, как время и последовательность событий. Но главное — разве Жозефина была такой высокой, как тебе казалось во сне?

Я был разбит в пух и прах. Но всё же рассказал о своём давнем удивлении по поводу того, откуда Тцара взял денег на такую грандиозную стройку.



— А вот это уже гораздо интереснее, — ответила вдруг жена. — Вряд ли его заработки позволяли такое.

— Не позволяли, — уверенно ответил я, уже будучи подкованным в вопросе.

— Значит, или украл, или выиграл.

— Я тогда тоже об этом подумал. Но это, как ты сама понимаешь, нелепо и глупо. Украсть не мог точно, он бы до такого не опустился. А выиграть...

— А выиграть мог. Теперь думай, у кого и во что.

— Азартным игроком он не был, в отличие от...

— Маяковского? — вдруг сказала жена.

— Ну да... — ответил я, подумав о том, при чём тут Маяковский.

— При том. Кто водил меня специально в отель Истрия, где он останавливался? Кто рассказывал о том, что история о том, как у него украли за минуту все деньги, звучит неправдоподобно?

Я был ошарашен.

А ведь правда, во время той самой прогулки с Радой Аллой я наверняка ввернул что-то о том, что в том же 1925 году у Маяковского в Париже украли все деньги, которые он так долго собирал для поездки в Америку — двадцать пять тысяч франков, трёхгодичную зарплату советского служащего. Это удивительная кража, совершённая за «двадцать секунд», когда он «вышел по делам моего живота» — так он писал Лиле Брик — до сих пор не даёт покоя его биографам. И хотя неизменная его парижская спутница, Эльза Триоле, описывая тот момент, когда Маяковский обнаружил пропажу, утверждала, что он «посерел», всё же многие до сих пор думают, что он, азартный игрок, попросту проиграл эти деньги. Конечно же, это было никак невозможно, и за прошедшее немалое время об этом наверняка стало бы известно. Кстати, Триоле писала

и о том, что в «Истрии» жили подолгу «художник-дадаист Пикабия с женой, художник Марсель Дюшан, сюрреалист-фотограф американец Ман Рей со знаменитой в Париже девушкой, бывшей моделью, по имени Кики и т.д.», а значит, бывал там и Тцара.

Вспомнив обо всём этом, я совершенно отчётливо вдруг понял, что разгадка полгода мучавшего меня сна лежит на поверхности.

И ничего утешительного она не несёт.

— Почему ты так погрузнел? — спросила удивлённо и даже участливо жена.

— Ты была права. Всё это — лишь небывалая комбинация бывалых впечатлений. А жаль...

— Поясни.

— Поясняю. Эта невероятная сцена, которая никогда не могла произойти в реальности, сложилась в моём сне как пазл из того, что я когда-то видел и слышал. Мы ночевали в доме, спроектированном Лоосом — и из какой-то далёкой ячейки моя память достала воспоминание о парижском доме Тцара, построенном Лоосом, и тут же напомнила мне о том, о чём я подумал тогда — как было бы забавно, если бы Тцара украл у Маяковского деньги и именно на них построил дом. Подумал и забыл. О Голловой и её романе с «отцом дада» мне наверняка сказал при одной из первых встреч Банков. Во сне я почему-то представил себя Маяковским (что немудрено, поскольку я его люблю и хорошо чувствую), узнавшим о том, кто был тем самым ловким вором, и страшно разгневанным по этому поводу. Ну, а вся парижская команда по законам жанра оказалась совершенно растерянной, потому что никак не ожидала Маяковского увидеть.

— Слушай, но ведь как красиво! Это точно не может быть правдой? Ну хорошо, Тцара не крал. Но выиграть он эти тысячи мог?

— Нет. Во-первых, Маяковский был азартным игроком с большим опытом, Тцара же ничем таким не увлекался. Играл он разве что в шахматы, в которые Маяковский, в свою очередь, никогда не играл. Во-вторых, даже если бы случилось невероятное и Маяковский проиграл бы ему (ну допустим) крупную сумму денег, это точно стало бы известно.

— Ну как скажешь, — тоже разочарованно сказала жена. — А мог бы получиться замечательный сюжет для рассказа.

— Мог бы, но не получится. В общем, ставим крест на этой истории. Займусь другими, более полезными делами.

И я занялся, хотя по-прежнему сожалел о том, что сон не оказался провидческим.

У всего этого был как минимум один результат — я не на шутку увлёкся проектами Лооса. Главным шедевром позднего периода его работы была вилла Мюллера, которая, к счастью, тоже находится в Праге, причём совсем недалеко от дома семьи Фиала, где жили и умерли двое сестёр Давида Бурлюка, Людмила и Марианна. Визиты к Ольге Фиаловой, жене Владимира Фиалы, сына Марианны, были важной составляющей частью моей пражской жизни. Она была кладезем бесценной информации о всей семье Бурлюков и многих их друзьях.

Я решил совместить два удовольствия в один день. И вот одну из дождливых февральских суббот я стоял перед входом на виллу Мюллер, держа в руках намокший билет. На экскурсии нас было четверо, и обходить запрет фотографирования было сложно — все мы были на виду.

Через несколько минут я забыл о дожде на улице — внутри казалось, что на улице ярко светит солнце. Недаром Лоос так любил жёлтые занавески.

Все помещения виллы создавали и поддерживали ощущение праздника. Сочетания цветов были безоши-

бочны. Светло-зелёный мрамор и белые стены в огромной гостиной, где установлен точно такой же кирпичный камин, как и на вилле Винтерниц; коричневая мебель и стеновые панели и снова белые стены в кабинетах; жёлто-белые с голубыми полосами стены и тёмно-розовый пол в детской; салатный с розовым в столовой...

Всё казалось точным, роскошным, но не избыточным.

А этот жёлтый цвет рам и дверей с наружной стороны? Одно это способно привести в восторг.

Во времена Первой Республики Франтишек Мюллер, директор строительной фирмы «Мюллер и Капса» из Пльзены, преуспевал. Но в 1948 году к власти в Чехословакии пришли коммунисты, и в стране наступили тёмные времена. Мюллер умер всего через три года от отравления угарным газом. Его единственная дочь, Ева, эмигрировала, и в большом доме осталась одна жена Мюллера, Милада.

В 1955 году вилла была национализирована. Сначала её использовали в качестве хранилища для коллекций прикладного искусства Национальной галереи. В 1959 году вилла была окончательно конфискована. Миладе Мюллеровой выделили две комнаты и ванную, остальные части виллы стали офисами национальной компании по производству учебников. Вилла начала стремительно ветшать и разрушаться. Милада прилагала невероятные усилия для её спасения, обращаясь к европейским архитекторам. Всё было напрасно. Но к середине 1960-х ситуация в стране начала меняться. Вскоре после смерти Милады, в апреле 1968-го, вилла Мюллер была объявлена объектом культурного наследия Чехословакии. После Бархатной революции виллу вернули в собственность Еве Матерновой, дочери Франтишека и Милады; в 1995 году она продала её Праге. Реставрация началась в 1998 году.

Семье Мюллеров повезло больше, чем семье Винтерниц...

От виллы Мюллер до дома семьи Фиала на Оржеховке — рукой подать. Десять минут пешком. Пани Ольга уже ждала меня. Ей было почти девяносто, но она сохранила великолепную память и невероятную бодрость. И, как обычно, меня ждал её фирменный яблочный пирог.

В этот раз мы говорили о двух приездах Бурлюка с женой, Марусей, в Прагу. Пани Ольга с улыбкой рассказывала о необычайных Марусиных шляпках, о причудах Бурлюка — на устроенном в его честь в Клубе писателей торжественном обеде он вдруг потребовал дать ему кошерные блюда.

После чая с пирогом я рассказал пани Ольге о своей экскурсии по вилле Мюллера.

Она заметно оживилась:

— Я была хорошо знакома с Миладой. Их дом построили в один год с нашим. Но, к счастью, на наш госу-дарство никогда не претендовало. Она иногда приходила сюда, в гости к Вацлаву с Марианной. Возможно, она даже видела Бурлюка — или в 1957-м, или в 1962-м.

Сам не знаю почему, но я решил рассказать ей о своём необычном сне.

Начиная с середины моего рассказа, она всё шире улыбалась, а под конец просто расхохоталась.

— Вы напрасно себя укоряли, считая свой сон игрой подсознания. Всё было почти так, как вы увидели. Бурлюк во время первого своего приезда к нам рассказал много интересных вещей, попросив держать их в секрете. Прошло уже пятьдесят лет со дня его смерти, да и мне вряд ли долго осталось. Так что я считаю себя вправе кое-что вам рассказать. Вы же знаете, что Маяковский был в Америке в 1925 году?

— Конечно. Я даже был знаком с дочерью Маяковского, Патрицией.

— Ну вот. Тогда, в 1925, Маяковский многое рассказал Бурлюку. Во-первых, он строго-настрого запретил ему возвращаться на родину. Во-вторых, рассказал об одном забавном эпизоде...

Она сделала драматическую паузу и продолжила:

— Маяковский познакомился с Тцарой ещё в 1922-м, в гостях у Робера и Сони Делоне. Они встречались несколько раз, и Маяковский даже хотел включить Тцару в состав «ЛЕФа». Тцара, зная страсть Маяковского к азартным играм и будучи любителем экспромтов, сходу предложил Маяковскому сразиться в шахматы, выдвинув убойный аргумент — он ведь многократно играл в шахматы с самим Лениным...

Видя моё изумление, пани Ольга ещё раз рассмеялась:

— Да-да, в цюрихском кабаре «Вольтер», откуда и пошёл дадаизм. Разве вы не знали? Ленин в 1916 году жил ровно напротив этого кабака и часто заходил туда. Он быстро познакомился со всеми — Тцарой, Хуго Баллем, Хансом Арпом, Марселем Янко. А с Тцарой он часто играл в шахматы — об этом есть множество воспоминаний. На этом тот и хотел сыграть, раззадоривая Маяковского, который в шахматы отказывался играть категорически. И в конце концов раззадорил окончательно. Маяковский проигрался в пух и прах, потеряв всё, на что собирался поехать в Америку. Через несколько дней Маяковский пришёл к Тцаре с просьбой вернуть деньги, но тот отказал. Пришлось обращаться в Торгпредство и Госиздат, а ещё одалживать деньги у парижских знакомых. Это было так унижительно для Маяковского, что никому, кроме Бурлюка, он об этом не рассказывал. Да и того попросил держать всё в тайне. Я думаю, его решение сыграть с Тцарой было вызвано личными непростыми отношениями с Лениным.

Я сидел, не веря в реальность происходящего. Разве так возможно? Маяковский умер в 1930-м, Бурлюк — в 1967-м, а мы в 2019-м сидим тут, в Праге, в доме, где бывали десятки знаменитостей, и пани Ольга рассказывает мне впервые — так хочется в это верить — тайну, которую мечтали узнать десятки, если не сотни, исследователей творчества Маяковского...

— У вас великолепная память! — воскликнул я и осёкся. Вряд ли кто-то обрадуется, когда даже комплиментом подчёркивают его возраст.

Не выказав и тени обиды, пани Ольга ответила:

— Кстати, Лоос тоже был шахматистом-любителем. Он активно играл в венском «Café Central», участвовал в турнирах с гроссмейстерами. Так что шахматная доска в вашем сне появилась неспроста.

Мне не терпелось рассказать обо всём жене. Я наспех попрощался с пани Ольгой, поцеловал ей руку и вылетел на улицу.

Как назло, жена вела очередной урок и не брала трубку.

Через час, дома, я усадил её на диван и потребовал слушать, не перебивая.

Видимо, рассказ произвёл на неё впечатление, потому что она действительно не перебивала, задав в конце лишь один вопрос:

— А что за непростые отношения были у Маяковского с Лениным?

Я торжествовал, но виду не показывал:

— Когда Маяковский написал свою поэму «150 000 000», он с автографом и «комфутским приветом» передал её через Луначарского Ленину. Тому поэма категорически не понравилась, и он отчитал Луначарского, сказав, что того нужно сечь за футуризм, а подобные поэмы издавать дважды в год крошечными тиражами. Правда, через два года

похвалил Маяковского за стихотворение «Прозаседавшиеся», что стало широко известно. Смерть Ленина потрясла Маяковского, которому так и не удалось с ним встретиться и поговорить. Лиля Брик писала, что Маяковский всю жизнь сожалел об этом. Наверное, поэтому он и согласился сыграть с Тцарой — это ведь случилось уже после смерти Ленина.

— Наверное, ты прав, — сказала жена.

Такая похвала стоила тысячи похвал.

Неделю я не мог прийти в себя. Снова и снова перебирал в памяти все мельчайшие детали сна, пытаюсь понять, откуда я мог о них знать или слышать.

А ещё через неделю жена неожиданно сказала мне:

— Послушай, у нас ведь скоро очередная годовщина.

Давай снова переночуем на вилле Винтерниц?

И, помолчав, добавила:

— Может быть, и мне что-нибудь приснится?



## ЧЕЛОВЕК С БЕЗУПРЕЧНЫМ ВКУСОМ

Словно не замечая усиливавшегося с каждой минутой дождя, пара пожилых людей молча стояла у дальней стены старого кладбища, пристально вглядываясь в полустёртые буквы надгробия. На фоне соседних оно выглядело необычно. Простой белый крест с отсутствием скульптурных украшений более естественно смотрелся бы на любом российском кладбище; здесь же, на городском кладбище Карловых Вар, где чуть ли не каждое надгробие было маленьким скульптурным шедевром, он выглядел аскетично.

Мужчина, когда-то высокий и крупный, а теперь ссутулившийся, так, как обычно сутулятся очень пожилые люди, снял с головы бейсболку, и, взяв её обеими руками, прижал к промокнутому под дождём бежевому плащу. Бейсболка тоже смотрелась в этих местах чужеродно — Карловы Вары от Нью-Йорка всё-таки отделяют тысячи километров.

— Папа, ты простудишься, — участливо сказала его спутница. Её светлый плащ тоже промок, как и причудливая чёрно-белая шляпка, служившая скорее украшением, недели защитой от непогоды.

Державшийся на почтительной дистанции позади них молодой человек поддержал её:

— Давид Давидович, Мария Никифоровна права. Вы не для того два месяца лечились, чтобы под конец заболеть. Всё же ноябрь на дворе.

Молодой человек с трудом подбирал русские слова, произнося их с отчётливо выраженным балканским акцентом.

Давид Бурлюк молча надел бейсболку и с явной неохотой отошёл от могилы. Сделав несколько шагов, он внезапно развернулся и поклонился.

За воротами кладбища их ждал автомобиль, новая красная Шкода-Спартак.

— Спасибо вам, Илья. До сих пор не могу поверить, что простые рабочие могут теперь бесплатно лечиться в санаториях, которые недавно были по карману лишь буржуазии, — сказал Бурлюк. — И могут себе позволить такие автомобили.

— Мой друг не простой рабочий. Он инженер, к тому же ведущий. Извините, он совсем не говорит по-русски.

— В таком случае мы перейдём на французский. Да, товарищ?

Водитель улыбнулся:

— Конечно.

Дорога до санатория «Есениус» заняла десять минут. В самом конце пути Илья спросил:

— Давид Давидович, почему вам так важно было увидеть могилу этого человека? Кто он для вас?

— Дорогой Илья, вы же пишете о Маяковском? Приходите к нам в четыре. Пойдём вместе к колоннаде, пить назначенную доктором Фридом воду. Заодно и поговорим.

К четырём дождь прекратился. Когда Бурлюки спустились в холл, молодой человек уже ждал их.

— Чудесная гостиница, — сказал Бурлюк. В самом центре. Великолепно кормят и лечат. Уже в семь утра нас будит горничная — она приносит первую воду. Вы, чехи, молодцы — не отправили бывших хозяев в расход, как это

сделали в России. Потому и порядок. Доктору Фриду, конечно, вряд ли хотелось расставаться со своим имуществом, но он продолжает работать по профессии. А кто может знать всё здесь лучше, чем он?

— Вы же помните, Давид Давидович, я македонец. Беженец. Но и меня тут приняли, дали возможность бесплатно учиться, а теперь вот за счёт государства отправили сюда лечиться. До сих пор в это не верю.

Они вышли из гостиницы и повернули налево, к колоннаде. Над рекой Тепла поднимался пар, утки перебирали ногами по дну, медленно идя против течения. Вдоль колоннады прогуливались пары, а всегдашние карловарские пальмы в кадучках пытались создавать иллюзию южного города. В ноябре это у них уже плохо получалось.

— Вы спрашивали, дорогой Илья, о том, кто этот человек. Я скажу, но сначала хочу поблагодарить вас за то, что вы рассказали нам об этой могиле, и за то, что уговорили своего товарища отвезти нас к ней.

— Я узнал о ней совершенно случайно. Мой университетский друг — большой поклонник Матисса. Как-то он упомянул, что в Карлсбаде похоронен какой-то знаменитый русский коллекционер, лично знавший Матисса и покупавший у него работы. Сказал, что могила находится в самом конце кладбища. Я подумал, что вам может быть это интересно. Я и сам был там сегодня впервые.

— А вы знаете, что я рисовал в Париже, у Кормона, на том же мольберте, на котором перед этим рисовал Матисс? А потом выставялся с ним у Издебского и встречался в Москве? Ну ладно, это не так важно. Важно то, что мы вас встретили, и то, что успели побывать на кладбище. И всё это — за день до отъезда. Это просто чудо.

Давид Бурлюк посмотрел на жену. Она молча кивнула.

— Его могила считалась утраченной. Её искали во Франции, в Швейцарии... Никто не знал, где он похоронен.

Разве что ближайшие родственники. А ведь когда-то его имя гремело по всей России. Иван Абрамович Морозов... Впервые я побывал в его доме весной 1910-го года. Тогда же я увидел и коллекцию его друга и соперника, Сергея Щукина. Это был переворот. Всё, чему я учился до тех пор, пошло на сломку. После этого я уже точно знал, что буду делать дальше. Какой у Морозова был Сезанн! Даже не знаю, у кого в то время было больше работ Сезанна, чем у него. Я себя считал тогда постимпрессионистом, и Сезанн был для меня следующим шагом. Мы с братом прошли его быстро. За ним последовал Пикассо.

— А Маяковский бывал в его доме?

— Конечно. Без этого было никак нельзя. Хотя попасть к Ивану Абрамовичу было гораздо сложнее, чем к Щукину. Сергей Петрович иногда сам даже экскурсии по дому проводил. Кстати, как называется ваша дипломная работа?

— «Маяковский как лирик».

— Замечательно. Илья Костовский. Мы напишем о вас в нашем журнале. Но пойдёмте назад — у нас в шесть ужин, а потом концерт в музыкальном холле отеля «Москва». Чайковский и Хачатурян. Отель «Москва»... Интересно, как он назывался раньше?

— Грандотель «Пупп».

— Давно переименовали?

— Кажется, шесть лет назад, в 1951-м.

— Понятно. Интересно, где теперь раскулаченные хозяева. С этим всегда дилемма — с одной стороны, не хочешь оказаться на их месте, с другой радуешься, что в их отеле теперь могут остановиться и простые люди. То же и с коллекциями Щукина, Морозова... Хотел бы я, чтобы мою собственную коллекцию национализировали? Наверное, нет.

Бурлюк взял жену под руку, и они не спеша пошли к гостинице.

Когда они возвращались с концерта, было уже темно. Свет полной луны был ярче света фонарей на набережной. Бурлюки медленно шли вдоль реки. Несмотря на вечернюю прохладу, возвращаться домой не хотелось.

— Прекрасный Чайковский и прекрасный Хачатурян. Скажи, Марусенька, ты не скучаешь по музыке?

— Даже когда я не играю, она звучит у меня в голове, милый.

Они поднялись к себе в номер, на третий этаж. Не снимая плаща, Давид Давидович открыл дверь на балкон, шагнул на него, облокотился на перила и надолго замолчал.

Через несколько минут жена вышла к нему.

— Ты думаешь о Морозове, милый?

— Да, Марусечка.

— Он был великим человеком.

— Да. С отличным, почти безупречным вкусом.

— Почти?

— Ну ведь тогда, на первом «Венке», он купил работу Ларионова, а не мою. Но сейчас не об этом. Ты понимаешь, что интересно? Он ведь собирал коллекцию для себя, а помог мне. И сотням других художников. И вот один из величайших мировых коллекционеров похоронен в провинции, не глухой, но провинции, у дальней стены кладбища, и никто, кроме случайных людей, не знает, где его могила. Ну и что? Всё равно ведь о нём помнят, и будут помнить многие поколения. Имя его сохранится в истории благодаря его делам.

— Как и твоё, милый.

— Очень надеюсь на это. Сегодня утром, у его могилы, я решил. Не хороните меня на кладбище. Не устраивайте

торжеств. Просто кремируйте и развейте мой прах над океаном. Если кто-то захочет меня помянуть, пусть прочтёт мои стихи или сходит в музей, где висят мои работы.

— Хорошо, милый. Но с одним условием.

— Каким?

— Мой прах развеют вместе с твоим.

## ПАРЯЩЕЕ ОСТРИЁ

Я прилетел в Одессу из-за Экстер. Той самой Александры Экстер, чьи плакаты, по словам Маринетти, топтали в мае 1919-го на приморских улицах и бульварах революционные матросы. Я купил в Нью-Йорке её рисунок. Отличный рисунок. Он оказался фальшивкой.

Рисунок я, конечно, аукционерам вернул. Стоил он немало, но шума им не хотелось. Однако с тех пор меня не оставляла мысль — если есть подделка, значит, где-то должен быть и оригинал.

Этим где-то должна была быть Одесса. Такой эскиз балетного костюма для танцовщицы Эльзы Крюгер мог быть нарисован только в Одессе.

Я прилетел в конце октября. Летом в Одессе делать нечего, хотя я и не был там уже двадцать лет. Бродить по городу в толпе потеющих туристов — сомнительное удовольствие. Для того, чтобы город открылся тебе, он должен быть пустым и чистым.

Скучал ли я эти двадцать лет? Испытывал ли волнение? До тех пор, пока я не приземлился в Одессе, думал, что нет. В конце концов, Нью-Йорк — во много раз улучшенная Одесса.

И вот шасси самолёта стучат на стыках бетонной взлётно-посадочной полосы, а в здании аэропорта за эти годы изменилось лишь одно — в слове Одесса стало на одну «с» меньше.

Оказывается, я до сих пор знаю тут каждый куст. Все ямы, которые я помню с детства — на своих местах. Как и давно ветшающие дома. Есть и новое — безобразная уличная реклама, жуткие новостройки.

Но всё так же невероятно стойко убеждение одесситов в том, что их город — лучший на свете.

По моему глубокому убеждению, настоящая Одесса — только в центре. Там быстрее излечивается шок, испытываемый по прилёту. В центре ещё витает изрядно потрепанный временем дух отцов-основателей — от градоначальников до итальянских каменщиков, смешавшийся позже с духом греческих торговцев и еврейских мечтателей. Евреи в Одессе мечтали о Сионе. Куда потом в большинстве своём и уехали. Уехали гораздо позже итальянцев, французов и греков. Город от этого так и не оправился. По крайней мере, пока.

По этим самым улицам и ходила Александра Экстер, сбежавшая в Одессу из Киева в смутном 1919 году. Тогда от большевиков в Одессу бежали многие. Культурная жизнь в городе бурлила — в газетах и журналах печатались Макс Волошин, Иван Бунин и Алексей Толстой, Николай Евреинов и Константин Миклашевский ставили пьесы, в драматическом театре блистала Екатерина Полевицкая, каждый вечер в бесчисленных вновь открывшихся кабаре и театрах пели Юрий Морфесси, Иза Кремер и Александр Вертинский, танцевала Эльза Крюгер. В салоне у Михаила и Марии Цетлиных однажды собрались Алексей Толстой с Натальей Крандиевской, Вера Инбер, Керенский, Илья Фондаминский и Вадим Руднев. С ума сойти.

Интересно, что я здесь спустя ровно сто лет.

Я поселился в «Лондонской». А где ещё селиться, если хочешь жить и в центре, и с видом на море? Да и место легендарное.



Не успел я разобрать чемодан, как зазвонил мобильный. Дочка. Мой главный помощник и контролёр.

— Ну что, ты уже в Одессе?

— Да. Уже смотрю из окна на море.

— Свозил бы меня хоть раз в свою Одессу. А то рассказами только и кормишь. Бегать сегодня пойдёшь?

— Наверное, уже завтра утром. Сегодня — борьба с джетлэгом и составление планов.

— Пока. Пиши. Не забудь — лечь спать нужно по вашему времени.

За окном было уже темно. Спускаться вниз, на ужин, было лень. Я заказал рум-сервис и включил ноутбук.

Нет, я, конечно, уверен, что знаю о художественной Одессе всё. Но знания всё же лучше регулярно освежать. В конце концов, я приехал с почти детективным расследованием. А значит, нюх должен быть, как у собаки. Ну и глаз соответственно.

Начиная с 1880-го, художественная жизнь Одессы становилась всё более бурной, всё более насыщенной. Здесь брали первые уроки рисования Врубель и Кандинский. Из стен художественного училища, которое начиналось как рисовальная школа при Обществе изящных искусств и где проводили мастер-классы Репин и Айвазовский, вышли Давид Бурлюк и Савелий Сорин, Исаак Бродский и Борис Анисфельд, Натан Альтман и Владимир Баранов-Россине. Да и «Салоны» Издебского чего стоят! На них был представлен весь цвет тогдашней французской и русской «левой» живописи с группой Кандинского в придачу.

Тут возникли свои художественные объединения — сначала Южнорусские с великим Костанди во главе, потом «Независимые» — большинство из них подолгу прожили во Франции. Теофил Фраерман дружил с тем же Матиссом, Амшей Нюренберг в знаменитом «Улье» работал в одной

мастерской с Шагалом. «Независимые» успели с 1917-го по 1919-й провести три выставки, и, что характерно, в их работах совершенно не отражались политические события, происходившие в городе и стране. Не было ни одной работы на злобу дня. Одесситы, что сказать.

Как раз в одной мастерской с Нюрнбергом — под крышей студии Юлия Бершадского — и открыла свою собственную школу Александра Экстер. И было это в доме на Екатерининской, 24.

Экстер приехала в Одессу, уже будучи знаменитой. О её приезде восторженно писали газеты. Она была известна и как живописец, и как преподаватель, и как художник сцены. Один «Фамира Кифаред» в московском Камерном театре Александра Таирова чего стоил.

Решающую роль в том, что она так стремительно покинула Киев и приехала в наш морской город, сыграла Эльза Крюгер. Они собирались создать здесь свой собственный театр и выпускать журнал, посвящённый живописи и театру. Эльза мечтала танцевать Саломею, а Экстер уже создавала для пьесы декорации и костюмы — всё у того же Таирова.

Увы, этим планам не суждено было осуществиться.

Сразу по приезду Александра Александровна включилась в бурную одесскую жизнь. Ещё в октябре 1918-го в студии Бершадского открылась Свободная мастерская живописи и скульптуры. Преподавали в ней Амшей Нюрнберг, Венимамин Бабаджан, Филипп Гозиасон и Теофил Фраерман. Экстер открыла свою студию спустя полгода после открытия Свободной мастерской, когда деятельность той начала угасать. Её студия сразу стала пользоваться невероятной популярностью. Ещё бы — ведь лекции о новейших течениях в европейском искусстве, о Браке, Леже, Аполлинере и Пикассо одесситы теперь

слушали из уст той, кто была в самой гуще событий, была со всеми ними непосредственно знакома. Да что там знакома — дружила.

Свои поиски я решил начать именно оттуда. Чтобы пропитаться нужными духом и атмосферой.

В первую ночь спалось плохо. Заставить себя выйти на пробежку не смог. Ограничился зарядкой и пранаямой.

После завтрака я пошёл на Екатерининскую. Большой серый дом столетней давности со скульптурами на фасаде выглядел непривычно хорошо для Одессы. Маклеры называют такие дома «бельгийками» и особенно хвалят за качество. Ещё бы — даже лифт с 1914 года сохранился.

Студия преподавателя Одесского еврейского ремесленного училища общества «Труд» Юлия Рафаиловича Бершадского располагалась когда-то на пятом этаже, в шестикомнатной квартире номер семнадцать. Здесь у Экстер учился в числе других знаменитый Александр Френель — и помнил потом всю жизнь этот короткий период учёбы у «амазонки авангарда» — хотя потом, в Париже, учился у Бурделя и Матисса.

В помещение самой студии мне зайти не удалось — дверь в парадную, как я и ожидал, была закрыта на кодовый замок. Я постоял немного во дворике, где в 1920-х был фонтан со светильниками в стиле модерн. Закрыв глаза и попытался мысленно перенестись на сто лет назад.

Получалось не очень. Вокруг всё время кто-то ходил.

Тогда я достал листок с распечатанным стихотворением Багрицкого и прочёл его себе под нос:

Нет ничего прекрасней в мире,  
Когда, вдыхая трубок дым,  
Под номером 24,  
На пятом этаже сидим.

В волне табачного тумана  
Кружится жизни колесо,  
Но мы поём хвалу Сезанну,  
Хороним дружно Пикассо.

И, убивая красок литры,  
Всё непреклонней, всё смелей,  
Не бросим мы свои палитры  
И не покинем мы кистей.

Хорошо, что именно в этот момент рядом никого не было. Приняли бы за сумасшедшего, ей-Богу.

Пора было уходить. В час у меня была назначена встреча с одесским антикваром Арменом. Когда я здесь ещё жил, познакомиться с ним не довелось. Номер его мне дали нью-йоркские друзья-коллекционеры. При этом строго предупредили — ничего не покупать. Сказали, что он большой любитель выдавать купленные за копейки на одесском Староконном рынке работы никому не известных художников за работы художников именитых. Но иногда у него бывают действительно редчайшие вещи. И знаниями он обладает уникальными. Это мне и нужно.

Договорились встретиться с ним в ресторанчике «Кларабара» в городском саду, который когда-то подарил городу брат основателя Одессы, Феликс де Рибас.

Я шёл по Екатерининской и любовался катальпами. Помню, какое удивление вызывали у меня в детстве эти деревья с огромными листьями и длинными стручками. Папа показывал мне катальпы и павловнии и объяснял, что деревья эти экзотические и привезены к нам из далёких стран. Потом уже я прочитал, что павловния получила своё название в честь дочери императора Павла I, Анны.

Армен пришёл точно вовремя.

— У меня здесь всегда кредит. Я продаю хозяину живопись, а он меня кормит, — сказал он, усаживаясь за сто-

лик, снимая кепку и кладя на соседний стул свой потёртый портфель. — Место здесь отличное. Эти стены когда-то красил гениальный Ваган Ананян.

Стены действительно были великолепного фисташкового цвета.

Армен подозвал официанта и заказал коньяк. Потом закинул ногу на ногу и сложил руки на набалдашнике своей трости.

Я, наверное, слишком надолго задержал взгляд на этом серебряном набалдашнике.

— Там внутри стилет. Вещь незаменимая. Так что вас, собственно, интересует?

— Друзья рекомендовали мне вас как человека, который знает об одесских художниках всё.

— Вашим друзьям можно доверять.

— Меня интересует графика Александры Экстер. Одесского периода. Из серии «Танцы Эльзы Крюгер».

Армен поставил на стол бокал с коньяком и внимательно на меня посмотрел.

— Хм. У вас неплохие запросы.

— Ну что поделаться.

— Она жила у нас в Одессе всего год. Причём не самый спокойный. Потом вернулась в Киев, а позже уехала в Москву. Сами понимаете, какие-то рисунки могли остаться в Одессе только чудом. Хотя она у нас и выставлялась, и улицы к Первомаю украшала.

— Ну да, выставлялась в Салонах Издебского.

— И не только. Летом 1919-го, уже при большевиках, она тоже выставляла свои работы.

— Да ну. Не может быть.

— Ещё как может. Она же приехала в феврале, когда городом ещё управляли французы. Но делали это совершенно бестолково. И в начале апреля просто сбежали из

Одессы. У нас до сих пор поговаривают, что Анри Фрейденберга, который был в то время помощником главнокомандующего, просто подкупили. Сами посудите — войска Антанты насчитывали более двадцати пяти тысяч человек, а у перешедшего на сторону красных Григорьева — всего три. Говорят даже, что большевики завербовали Фрейденберга через Веру Холодную. И вроде как, узнав об этом, с ней безжалостно расправились деникинцы.

— «Вы звери, господа...»

— Именно. Правда, ликование рабочих быстро закончилось — вместо хлеба и мяса советская власть кормила одесситов митингами. А тут и первое мая кстати подвернулось. Амшей Нюренберг, который всегда, задрав штаны, бежал за комсомолом, собрал бригаду революционно настроенных художников и явился к секретарю Одесского исполкома товарищу Фельдману. Тому самому Фельдману, чьим именем будет позже назван тогдашний Николаевский и нынешний Приморский бульвар. Тому самому Фельдману, о ком сочинят анекдот, в котором извозчик будет отвечать клиенту: «Не знал, что фамилия нашего императора была Фельдман». В бригаду входили Олесевич, Фазини, Фраерман, Константиновский, Мидлер и Экстер. Кстати, им помогал и Макс Волошин. Правда, революционерами они были такими себе — при первой возможности Фазини, Олесевич и Экстер эмигрировали во Францию. Туда же после недолгого пребывания в Палестине перебрался Константиновский.

— Это всё же был интересный опыт оформления больших пространств.

— Ага, такой интересный, что Экстер чуть не застрелили — за живописным процессом наблюдали комиссары, и когда кто-то из художников случайно опрокинул на изображение красноармейца ведро с чёрной краской, один из

них навёл на Экстер пистолет и не сводил его, пока она не придумала, как сделать из кляксы декоративный элемент. Правда, потом их с Нюрнбергом даже наградили.

— И всё же, что была за выставка?

— Она называлась «1-ой Народной выставкой картин, плакатов, вывесок и детского творчества». Прошла в июне в Городском музее — нынешнем художественном. Экстер выставила там три вещи, если я не ошибаюсь. Одна из них — макет уличного театра. Что интересно — тогда большевики конфисковали крупнейшую в городе коллекцию Александра Руссова. Её тоже показали на выставке — там были Шишкин, Брюллов, Репин, Левитан. Фантастика.

— Ну и ну! А фотографии работ Экстер сохранились?

— Вы меня рассмешили. Ну кто в 1919 году в Одессе будет фотографировать какие-то картины? Кругом уголовники, в городе голод, бардак. Я больше того скажу — когда спустя семьдесят лет в том же музее прошла персональная выставка работ Экстер, в её каталоге тоже не было фотографий.

Армен отхлебнул коньяк из третьего уже бокала и выжидающе посмотрел на меня.

— Так что именно вас интересует? Хотите купить?

— Не отказался бы. У кого в Одессе могут быть её работы?

— На той самой выставке в 1989 году все работы были музейными. И только две из частных коллекций.

Я задержал дыхание.

— И чьи это коллекции?

— Одна работа у Михаила Евгеньевича Орловского.

— Дадите его номер?

— Записывайте.

Не веря своему счастью, я записал телефон.

— Спасибо. Ну а вам самому что-то из работ Экстер попадалось?

Армен опять внимательно на меня посмотрел.

— Да. Попадалось. Но мне пора идти. Честь имею.

Он неторопливо надел куртку, застегнул её на все пуговицы, потом надел кепку и взял в руки портфель.

— Если что, набирайте. Мой номер у вас есть.

Я в последний момент сообразил дать ему визитку.

Из глубокой задумчивости меня вывел голос официанта:

— За коньяк платить будете?

— Да, конечно.

Первая встреча — и уже результаты. Чтобы успокоить волнение, я решил немного прогуляться. Пошёл вниз, к художественному училищу. От городского сада до него — всего два квартала. Вот библиотека университета, рядом с ней — дом Иосифа Тимченко, в котором он изобрёл первый в мире киноаппарат. Чуть дальше, через дорогу — здание училища.

Октябрь был чудесным — тёплым и солнечным. Об осени напоминали только жёлтые листья, которыми были усыпаны тротуары.

Наискосок от училища — дом, в котором жили братья Бурлюки. Я подошёл полюбоваться профилем Давида Давидовича на мемориальной доске. Удивительный человек — он знал, казалось, всех значимых людей своего времени. Дружил и с Экстер, и с Кандинским. Они бывали у него в гостях тут, в квартире на верхнем этаже этого дома на Преображенской угол Софиевской. Той квартире с окнами-бойницами, где Воронцовский маяк проводил по потолку полосы своих огней.

Нужно было звонить Орловскому.

Он оказался, на удивление, невероятно любезным и тут же пригласил меня к себе домой.

Доехать на такси до Большой Арнаутской оказалось делом пяти минут.



Седой, невысокого роста, в тёплой вязаной кофте Михаил Евгеньевич пригласил меня в гостиную, все стены которой были увешаны картинами.

— Я не припомню вас на выставках. Давно вы в Нью-Йорке?

— Тридцать лет. Я уезжал почти сразу после школы. Собирался поступать в художественное училище, но родители заявили категорически, что сначала нужно получить высшее образование. Получал его уже в Нью-Йорке.

— Раз собирались поступать в училище, значит, занимались рисованием?

— Да, в студии Юрия Николаевича Вольского во Дворце пионеров. Пять лет.

— А кем работаете, если не секрет?

— Конечно, не секрет. Инвестиционным банкиром. В общем, помогаю богатым стать ещё богаче. А свободное время посвящаю искусству. Покупать живопись начал уже в Америке. Пытаюсь собирать авангард — насколько позволяют средства и знания.

— Да, сейчас это — минное поле. Фальшивок, кажется, намного больше, чем вещей настоящих. А что ищете в Одессе?

— Работы Экстер. Из серии костюмов для танцовщицы Эльзы Крюгер.

— Как интересно! У меня в коллекции есть один такой. Это не удивительно — они крепко дружили. Эльза вообще дружила со многими авангардными художниками, например, с Ларионовым и Гончаровой. Да и Экстер была общительной и дружелюбной, хотя многие говорили о её непростом характере. Ученики её обожали. И не только киевские, но и одесские.

— Да, у неё же была студия на Екатерининской.

— И не только там. Уже в октябре, после прихода деникинцев, она открыла новую студию, на Херсонской, в семнадцатом доме. Вениамин Бабаджан и Филип Гозиасон, которые весной слушали её лекции на Екатерининской, там уже преподавали. К ней приходили Нюренберг и Андреенко-Нечитайло. Миклашевский читал лекции об итальянской комедии дель-арте.

Вот, кстати, над дверью две работы Бабаджана. В конце того же года он был мобилизован в Добровольческую армию, служил телеграфистом. А в 1920 в Феодосии его расстреляли большевики.

Я посмотрел на два небольших этюда, висевших над входом в гостиную.

— Так это же редчайшие вещи!

— Да, он прожил всего двадцать шесть лет. К счастью, успел выпустить три сборника стихов. Так что никогда не нужно откладывать творчество на потом, до лучших времён. Они могут и не наступить. Но пойдёмте, я покажу вам Экстер.

Совсем небольшой рисунок Экстер висел в соседней комнате. Тот, что продали мне, был раза в два больше.

— Он принадлежал когда-то одесскому коллекционеру Стратонову. Потом оказался у меня. Эльза Крюгер мечтала поставить «Саломею», работала над ней с Миклашевским, а Экстер уже делала костюмы и декорации в Москве, у Таирова. Кстати, он познакомился с Экстер в гостях у Гончаровой. Но время было, мягко говоря, не совсем подходящее. После бегства французов из Одессы к этой идее уже не возвращались. Но и Экстер, и Крюгер остались в Одессе. И осенью, уже при деникинцах, Крюгер дала серию концертов. Костюмы для неё рисовала Экстер. Часть эскизов, набросков она подарила потом своим одесским друзьям и ученикам. А вскоре обе оказались за границей.

Экстер вернулась в Париж, преподавала в школе Фернана Леже, дружила с Делоне, работала с театрами и кино. Крюгер уезжает в Берлин, открывает там балетный театр. Экстер приезжала к ней, оформляла её спектакли, помогала украшать дом, дарила свои рисунки.

— А до наших дней что-то из этих набросков в Одессе осталось?

— На выставке в 1989 году было всего две работы из частных коллекций. Все остальные — из музейных собраний. Живопись — из Русского музея, Киева и Саратова, театральные эскизы — из Театрального музея Бахрушина.

— А... вторая работа? У кого она?

— Была в собрании Ивана Михайловича Федоркова. У него вообще была великолепная коллекция, одна из лучших в городе — от Репина и Крамского, Рериха и Серова до Гончаровой, Судейкина, Серебряковой и Фалька. Была у него и Экстер. Но в апреле 1990-го его убили в его собственной квартире на Нежинской. Убили, чтобы ограбить. В дверь их коммунальной квартиры позвонили люди в медицинских халатах, открывшей дверь соседке сказали, что приехали на вызов к Федорковым. Самого Ивана Михайловича закатали в ковёр, и он задохнулся. Жена его в это время была в ванной, дверь туда забаррикадировали. Ни одна из работ, которые тогда украли, за эти годы не всплыла на рынке. Среди них был и холст Экстер.

Я потрясённо молчал.

— Это было большим ударом не только для тех, кто знал Федоркова. Но и для всей культурной Одессы.

— А из Одесского художественного на выставке ничего не было?

— В Одесском художественном работ Экстер давно уже нет.

— То есть они были?

— Были. Но об этом вам лучше расспросить в самом музее. Записывайте номер Алексева.

Я уходил от Орловского со смешанными чувствами. С одной стороны, у меня был ещё один контакт, ещё она ниточка. С другой, всё выглядело чрезвычайно запутанным. Убийство, кража, пропажа работ... Признаюсь, такого я не ожидал.

Этим вечером поднялся ветер. Он срывал с деревьев последние жёлтые листья и уносил их вниз, к морю. Я стоял у окна своего номера, смотрел на Военную гавань и пытался представить себе, какая паника царила в городе и в порту четвёртого апреля 1919 года. Генерал д'Ансельм назвал тогда поспешную эвакуацию, фактическое бегство «разгрузкой города», проводимой «для уменьшения числа едоков». Именно в этот день отплыли в Константинополь на пароходе «Кавказ» и Цетлины, и Алексей Толстой с женой. Всё, что происходило в тогдашней Одессе, он прекрасно описал в своём «Ибикусе». Под именем одесского губернатора Хаврина, увозившего двенадцать чемоданов денег и железный сундук с валютой, он вывел генерала Шварца, назначенного французами военным генерал-губернатором и командующим всеми русскими войсками Одесского региона. Шварц вместе со всей городской администрацией тоже эвакуировался на «Кавказе». А всего из Одессы ушло тогда больше ста различных судов, и вошедшие в город григорьевцы увидели порт, забитый брошенными автомобилями, ящиками с шампанским и грудами консервов.

Михаил Брайкевич, который был в то время городским головой Одессы, принимал участие во всех переговорах с французами. Друг Сомова, Бакста и Бенуа, он в том же году уехал в Батум, а оттуда в Англию, оставив свою прекрасную коллекцию картин на хранение Новороссий-

скому университету. Сейчас эта коллекция, как и коллекция Александра Руссова, является одной из основных частей собрания художественного музея. Они стали одесскими Щукиным и Морозовым.

В коллекции Брайкевича были знаменитый автопортрет Зинаиды Серебряковой в костюме Пьеро, портрет Саввы Мамонтова работы Серова, «Болотные огни» Врубеля и почти все нынче уже музейные работы «мирискусников». Был в ней и сделанный Бакстом набросок танцующей Айседоры Дункан. В феврале 1913-го она танцевала обнажённой на столах в ресторане гостиницы, в которой я сейчас живу.

Ветер на улице усиливался. Я гулял по коридорам полупустой гостиницы, разглядывая таблички у дверей номеров. Тут останавливался Маяковский, тут — Чехов, а в этом номере — Роберт Льюис Стивенсон. Поднялся по широкой мраморной лестнице на третий этаж, чтобы посмотреть на фотографии гостей. Куприн, Паустовский, Волошин, Бабель, Маннергейм, Мاستроянни... Волошин, кстати, тогда с Толстыми и Цетлиными не уехал, хотя они его уговаривали.

Завибрировал телефон. Пришла смс от дочки с одним словом: «Пробежка».

Ну какая пробежка в такую погоду?

Спустился в ресторан. Сидеть во дворике, под огромным платаном, было уже холодно. В зале ресторана, кроме меня, была ещё одна парочка. В ожидании стейка решил почитать побольше о постояльцах отеля. Первой выскочила статья о Луи Арагоне и Эльзе Триоле.

Они останавливались в «Лондонской» поздней осенью 1934 года. Арагон писал по контракту с Одесской кинофабрикой сценарий. Завтракали и обедали они прямо в номере — Эльза ходила на «Привоз» и потом готовила на

электрической плитке цветную капусту, делала рагу, а вечерами переводила написанное мужем на русский. Фильм по сценарию Арагона, увы, не был поставлен. Зато Эльза описала в романе «Инспектор развалин» то, что произошло с ними в «Лондонской» во время встречи Нового, 1935 года. Тогда в самый разгар новогоднего бала в ресторане появился дрессировщик Борис Эдер со своей любимой львицей, которая шла с ним без всякого повода. Львицу чем-то привлекла кассирша в белом накрахмаленном халате, и она бросилась в её сторону, поставив той лапы на плечи. Через несколько минут четыре моряка торжественно выносили из зала потерявшую сознание девушку с расцарапанным в кровь плечом.

Арагон был знаком с Экстер через Фернана Леже — тот будет иллюстрировать его книги, а Экстер преподавать в созданной Леже Академии современного искусства.

Долгожданный стейк оказался невкусным. Я отполз в номер и сразу лёг спать.

Утром выглянуло солнце. Я натянул спортивный костюм и решительно сбежал вниз по лестнице. Метрдотель посмотрел на меня, как на сумасшедшего.

Приморский бульвар прекрасен в любое время года. Удивительно, что Воронцов заставлял когда-то состоятельных одесситов строить здесь дома. Дюком можно любоваться вечно. Сколько раз мы рисовали бульвар во время занятий в художественной студии у Юрия Николаевича Вольского! Там, на втором этаже Воронцовского дворца, я провёл множество прекрасных утренних и вечерних часов.

Тёщин мост и сейчас качается посередине точно так же, как он это делал и двадцать, и тридцать лет назад. И Шахский дворец на месте — даже не верится, что персидский Мохаммад Али-шах почти одиннадцать лет жил тут со своим гаремом.

А вот Комсомольский бульвар носит теперь имя Жванецкого. Здесь когда-то и был тот самый вишнёвый сад, который пытался продать Чехов.

И вот, наконец, музей. Дворец, построенный для Ольги Нарышкиной, в девичестве Потоцкой, и выкупленный для города Григорием Маразли в 1888 году. Дворец её матери, Софии Потоцкой, был совсем рядом — сейчас там ювелирная фабрика. Которая, впрочем, давно не работает. Как и остальные одесские заводы и фабрики.

Добежав до музея, я остановился и погрузился в раздумья. Бежать обратно и переодеваться? Или зайти к Алексею прямо так? В конце концов, лень победила. Дозвониться до него я не смог, но встреченная во дворе сотрудница музея подсказала, где его искать.

Многолетний замдиректора по науке облюбовал себе музейную библиотеку в узком переулке Ляпунова. Я помню, как тут когда-то ходил трамвай, это была прекрасная съёмочная площадка для фильмов, в которых нужно было показать старую Одессу.

Высокий, худой Наум Абрамович встретил меня довольно сдержанно. Узнав, что я от Орловского, смягчился.

— Экстер? У вас хороший вкус. Да, конечно, я помню ту выставку. Я ведь в музее с 1970 года. Вы тогда, наверное, ещё не родились?

— Уже родился, но в музее ходить начал немного позже.

— Мы тогда отлично поработали с музеем имени Бахрушина. А для меня тот год запомнился тем, что я впервые погрузился в биографию Кандинского. Это моя страсть и до сих пор.

— Я слышал, что вы — главный эксперт по его одесскому периоду.

— Приятно, что даже в Нью-Йорке об этом знают. Вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что он был и остаётся главным художником, связанным с Одессой. Он ведь прожил тут четырнадцать лет, окончил гимназию, а потом много лет приезжал к родителям, которые прожили тут весь остаток жизни и тут же похоронены. В Одессе у Кандинского родились три сводных брата и сестра. И много лет он пытался добиться признания в одесских художественных кругах. Ведь в самый первый раз он выставил свои работы именно в Одессе, в 1898 году, на выставке Товарищества южнорусских художников. Но вернёмся к вашему вопросу — что именно вас интересует по Экстер?

— Я ищу её работы одесского периода. В частности, эскизы костюмов для Эльзы Крюгер. Вам что-то такое попадалось?

— Конечно. Не так много, но попадалось. Да и у нас в музее они когда-то были.

Наверное, мой вопросительный взгляд был слишком красноречивым, и Наум Абрамович продолжил:

— Наш музей назывался тогда Народным художественным музеем, а нынешний Музей Западного и Восточного искусства — Государственным художественным музеем. В 1926 году этот музей купил у некоего гражданина Локшица тринадцать работ Экстер и передал затем в музейный фонд.

— И что случилось с ними дальше?

— Это детективная история. Они пропали. Кроме них, у нас пропал целый ряд картин ещё более именитых авторов. Будь они сейчас в музее, он был бы музеем действительно мирового уровня.

— Как? Каких?



— Сейчас я покажу вам фотографию.

Он извлёк из глубин письменного стола чёрно-белую фотографию, на которой была комната, увешанная великолепной авангардной живописью.

— В 1928 году в нашем музее прошла выставка подарков, полученных из музеев Москвы и Ленинграда. Вы же знаете, что в первые годы после революции, или, если угодно, Октябрьского переворота «левые» художники были единственными, кто поддержал новую власть. И на короткое время они стали чуть ли не главными во вновь родившемся советском искусстве. Они даже создали первый в мире музей современного искусства — Музей живописной культуры. Они — это Кандинский, Малевич и Родченко. Закончилось всё печально, но за эти несколько лет руководство Наркомпроса успело закупить в музейные фонды сотни работ своих друзей и единомышленников. Работы эти затем распределялись по провинциальным музеям. В Одессу в 1927–28 годах их поступило почти четыреста. Не все из них, конечно, принадлежали авангардистам. Но таких было немало. И какие имена! Вот, например, в январе 1927 года тогдашний директор музея, Цви Савельевич Эмский-Могилевский, получил из Государственного музейного фонда двадцать девять работ. Среди них была большая работа Кандинского — почти полтора на два метра! А через год он же принял из Московского музея живописной культуры пятнадцать работ, среди которых были две работы Малевича, две — Любви Поповой, ещё две — Давида Бурлюка, две — Натальи Гончаровой и три — Аристарха Лентулова. Два Малевича, подумайте только!

— И где же сейчас все эти работы?

Наум Абрамович хмыкнул.

— Этого наверняка не знает никто. Я сам бьюсь над этим который год. Известно, что ещё в 1935 году они бы-

ли выставлены в Галерее нового искусства на Сабанеевом мосту, в бывшей усадьбе Толстых. О работе Кандинского мне удалось кое-что разузнать. Она называлась «Пляшущее остриё» и была подготовительной работой к его знаменитой последней «Композиции VIII». До передачи в Одессу она демонстрировалась на выставках в Москве и Берлине. После 1935-го её следы теряются. Сегодня в нашем музее осталась лишь одна работа из того списка — «В кабачке» Синезубова.

— Ну ведь такого не может быть. У вас же государственный музей. А это работы всемирно известных мастеров. И вы сами сказали, что они совсем не маленьких размеров. Неужели за полстолетия не нашлось никаких следов?

Мой эмоциональный вопрос рассердил Алексеева.

— Молодой человек, не мы с вами решаем, что может быть, а что не может.

— Согласен. Погорячился. Но версии какие-то есть?

— Есть. Одна из версий — то, что румыны увезли их с собой при эвакуации из Одессы в 1944 году. Но простите, мне нужно работать.

— Можно я на всякий случай оставлю вам свой мейл?

— Ладно. Хотя я сомневаюсь, что смогу вам чем-то помочь.

Я вышел от него в ещё большей растерянности, чем от Орловского. Как могли пропасть из музея работы Кандинского и Малевича, причём так, чтобы не осталось никаких следов? Понятно, что во время войны могло произойти что угодно, но всё же...

Я решил позвонить Михаилу Евгеньевичу. Он производил впечатление человека, который знает всё.

— Приезжайте. Вы же недалеко.

Через пятнадцать минут я был у него в гостинной.

— Вы ещё и спортсмен?

— Утром выбежал из гостиницы и сам не заметил, как добежал до музея. А потом уже и к вам.

— Наум рассказывал мне об этой пропаже. Даже статью написал. Что было дальше — не знаю. Он же исследователь, хочет быть первым. Такая находка будет сенсацией.

— А могло ли быть так, что Малевича с Кандинским увезли в Румынию?

— Думаю, в те годы румын интересовали совсем другие имена. Но встретитесь на всякий случай с Сашей Дмитриевым. Он глубоко исследовал этот вопрос. Думаю, он сможет как-то прояснить ситуацию.

Саша взял трубку сразу и предложил встретиться тем же вечером на Дерибасовской.

— Вы же в «Компоте» ещё не бывали? Давайте там в семь. Нет, в семь тридцать.

— Отлично. Как я вас узнаю?

— Я высокий, почти лысый и бородатый.

Бежать от Большой Арнаутской до Приморского бульвара было бы уже чересчур. Таксист согласился подождать, пока я вынесу из номера деньги.

Я пришёл в «Компот» пораньше. Кроме собственно компотов, там совершенно восхитительные котлеты. У нас в Нью-Йорке таких не найдёшь. И пюре, как у мамы.

Когда Саша вошёл, я узнал его сразу. У него была не бородка, а действительно самая настоящая окладистая борода.

— Вы похожи на старообрядца.

— Отпустил за последние полгода.

— У меня ни разу не хватало терпения. В определённый момент она начинала невыносимо чесаться, и я в раздражении всё сбивал.

— Что есть, то есть, — улыбнулся он. — Вы говорили, что вас интересует Экстер?

— И не только она. Сегодня я услышал совершенно фантастическую историю о пропавших из художественного музея полотнах Кандинского и Малевича.

— Вы были у Наума Абрамовича?

— Да. Он всё и рассказал. Он считает, что эти вещи в 1944-м увезли с собой румыны.

— История с пропажей — очень тёмная. И никем толком не изученная. Да и знают о ней немногие. Но по поводу «румынской теории» могу сказать почти наверняка — это не они. Да, они многое вывезли. Причём увозили не только румыны, но и немцы — они перед самым освобождением Одессы снова взяли на себя руководство городом. Часть потом вернули — Румыния же стала социалистической. Безусловно, многое пропало. В описях неразбериха. Но в тех списках, что я видел, не припомню ни одного имени авангардистов. Судя по всему, румын они просто не интересовали. Их интересовали Айвазовский, Левитан, Маковский, Серов, Сомов. В общем, искусство, понятное всем. Не «дегенеративное».

Кроме того, часть работ из Народного художественного музея вместе с работами Государственного художественного — сегодня Музея Западного и Восточного искусства — была эвакуирована в Ташкент и Уфу. По идее, всё должно было вернуться. Но, опять же, военную неразбериху никто не отменял. Известно, что из Ташкента не вернулись почти пятьдесят работ.

Скорее всего, разгадка кроется совсем в другом. Вы знаете о судьбе Эмского-Могилевского?

— Наум Абрамович упомянул сегодня его имя. Больше ничего не знаю. Хотя, когда ехал сюда, был уверен, что знаю об одесских художниках всё.

— Он был одним из создателей Народного художественного музея. А в 1924 году стал директором. Тогда, после революции, в коллекцию добавилось множество работ. Тех, что экспроприировали у «буржуев». Ну ладно, Брайкевич сам отдал работы на хранение. Но коллекцию Руссова, например, реквизируют. Затем, уже при Эмском-Могилевском, были большие поступления из столичных фондов. Да и сам он подарил музею множество работ — он ведь был художником и дружил со многими. Вообще, судя по воспоминаниям современников, он был замечательным человеком.

Естественно, как директор, он был обязан лично проводить экскурсии для почётных гостей. А в Одессе тогда работали и немецкое, и японское, и итальянское консульства. Но времена менялись. И 10 сентября 1937 года его арестовали, а через два месяца расстреляли за то, что он якобы работал на иностранную разведку. Обвинению хватило показаний одного-единственного свидетеля, который сказал, что Эмский-Могилевский якобы был «неискренним» и выказывал недовольство советской властью. Вдове, конечно же, сказали, что он сослан в лагерь без права переписки. Только в 1957 году, после смерти Сталина, Эмского реабилитировали. О нём превосходно отзывались и Фраерман, и Мучник. Того единственного свидетеля по фамилии Трейстер для повторного допроса найти не смогли. Но советская власть не была бы собой, если бы не лгала. Вдове сообщили, что он умер от сердечной недостаточности в 1944 году, и место его захоронения неизвестно.

— Сволочи, — только и смог сказать я.

— Одесские газеты писали в 1938 году о том, что музеем управлял враг. Что Эмский-Могилевский не пополнял музей картинами, которые воспевали революцион-

ную героику народа. Понятно, что на фоне разгоревшейся борьбы с формализмом хранить в музейном собрании беспредметные, абстрактные, авангардные работы было самоубийственно. Всем известно, что до начала пятидесятых по музеям всего Союза ездили комиссии и пересматривали коллекции в поисках «не таких» работ. Больше всего страдали как раз музеи провинциальные. Я не раз слышал рассказы о том, что работы художников-авангардистов попросту сжигали на музейном дворе. Доказательств этому нет, но дыма без огня не бывает. И в прямом, и в переносном смысле. И если работы не были уничтожены по прямому приказу проверяющих, их могли уничтожить сами работники музея. Новое руководство. Повторять судьбу Эмского-Могилевского не хотелось никому.

Он замолчал. Да и мне говорить не хотелось.

Обстановку разрядил официант, принесший кофе.

— Такие были времена, — продолжил Саша. — Поэтому после ареста Эмского-Могилевского новые руководители музея сразу стали закупать в коллекцию портреты колхозников и вождей. И ещё понятных советской власти передвижников. А всё авангардное и непонятное убрали поначалу в запасники. Ну а потом, скорее всего, уничтожили. От греха подальше.

— Какое чудо, что Малевич успел оставить часть своих работ в Берлине. А Кандинский получил разрешение выехать для преподавания в «Баухаусе».

— Да. Но при этом все работы Кандинского, которые он оставил в России, были национализированы. И, как видим, далеко не все сохранились. Да и в Германии не все вещи Малевича уцелели. Пожалуй, самое надёжное место для хранения живописи — это Америка.

— Я бы с этим тоже поспорил.

— Вам виднее. Может быть, перейдём на «ты»?

— Конечно. Скажи, фамилия Экстер тебе ни в каких описях не встречалась?

— Ни разу. Я поищу у себя записи о том, что румыны увезли и что потом вернулось. Одесские газеты писали об этом в 1940-х. Пришлю тебе на мейл.

— Буду очень признателен.

— У меня сейчас встреча тут неподалёку. Не хочешь присоединиться? С двумя девушками. Но деловая. Кстати, ты видел мемориальную доску Кандинскому? Ты в каком году уехал?

— В 1989-м.

— Ого, давно. И в Одессе за это время ни разу не был?

— Был однажды. В конце девяностых.

— Ну ты даёшь. Пойдём, я тебе её покажу.

Гулять по родному городу спустя двадцать лет — приключение и испытание. Не могу сказать, что Одесса за это время особенно похорошела. Мой приятель, поэт Марк Шевченко (вообще-то он Эпштейн), как-то сравнил одесские улицы с улыбкой старого зэка. Вот тут — новый дом, тут дом почти развалился, а тут вообще пустырь. Вот и на Дерибасовской так. Прямо напротив нынешнего «Компота» была когда-то гостиница «Спартак», до революции называвшаяся «Империл». В ней в 1928 году даже останавливался Михаил Булгаков, планировавший ставить «Бег» в Русском театре. Пьеса поставлена не была, да и гостиницы больше нет — этот «зуб» удалили. Сейчас на её месте — базарчик, в первом ряду которого арабы продают халяльную еду.

— Давно тут всё это? — спросил я у Саши.

— Что? Базарчик? Уже лет восемь. Ты лучше посмотри дальше — на бывшую «Большую Московскую». «Золотой ключик» помнишь? Его уже давно нет. Сам дом от-

реставрировали, но он стоит пустым и заброшенным. Ладно, пойдём к другой бывшей кондитерской. К «Лакомке».

С каждым домом на Дерибасовской связаны воспоминания из детства. И всё, практически всё теперь изменилось. Вот здесь был мой любимый книжный магазин, а сейчас продают одежду. А здесь когда-то была легендарная дискотека и летний кинотеатр — сейчас торговый центр. Хорошо, что дом Кандинского на месте.

В моём детстве тут, на первом этаже пятиэтажного дома на углу Дерибасовской и Карла Маркса, был магазин сладостей с говорящим названием «Лакомка». Сейчас — нелепый ресторан. А сто лет назад кондитерским магазином знаменитого «Товарищества А. И. Абрикосова и сыновей» заведовал папа Кандинского, Василий Сильвестрович.

Почти сразу после приезда в Одессу родители Кандинского развелись, и мама художника, Лидия Ивановна, снова вышла замуж. Её вторым мужем стал учредитель и директор Одесского учётного банка, потомственный почётный гражданин Михаил Михайлович Кожевников. В этом браке у них родилось четверо детей — Владимир, Александр, Алексей и Елизавета. Кандинский даже крестил одного из своих сводных братьев, Алексея.

Василий Сильвестрович очень дружил со вторым мужем своей бывшей жены, а сам художник поддерживал отношения с Кожевниковыми практически всю жизнь. Так что мемориальную доску могли установить и на доме по Еврейской, 12 — именно там жили Кожевниковы. Но установили всё же на Дерибасовской, 17 — там, на верхнем этаже дома, жили одно время Василий Сильвестрович с сыном.

— Тогда, в 1995-м, на открытие этой мемориальной доски приехали даже жёны двух французских президен-



тов — Помпиду и Ширака, — сказал Саша. — Это было грандиозно.

— А мы, девятиклассники, во дворе этого дома как-то распили бутылку «Медвежьей крови», сбежав со скучного спектакля о Крупской, — рассмеялся я.

— Помню это болгарское красное. Ну что, пойдём продолжим традицию? Здесь недалеко. Мне нужно встретиться с дочкой одного известного коллекционера.

Если с новой архитектурой в Одессе совсем плохо, то с барами и ресторанами, напротив, очень хорошо. *Fitz* на Екатерининской привёл меня в восторг.

— А вот и наши девушки. Знакомьтесь — Лена и Настя. А это Давид. Одессит, живущий в Нью-Йорке.

— Одесситов бывших не бывает, — улыбнулась Настя.

— Это точно.

В «Фитце» был итальянский бармендер. Поэтому сначала мы выпили «Копакабану», затем «Гаити». Потом Саша ушёл домой, зато пришёл ди-джей. Потом мы пили «Биарриц» и «Бора-Бора» и танцевали у барной стойки. Около двенадцати мы с Настей пошли провожать домой её подругу Лену, потом я провожал домой Настю. Каким образом мы оказались у меня в номере, я уже не помню.

Утром я рассказал ей свою историю об Экстер.

— Слушай, это интересно. У папы, кажется, есть её работа. Или была. Вызови мне такси, я вернусь домой и уточню у него.

Я поцеловал её. Она пахла морским бризом. Вы будете смеяться, но это правда.

Уходя, она обернулась и посмотрела на табличку у моей двери.

— Так ты живёшь в номере Сименона? Ну и ну! Почитай о его амурных приключениях в Одессе.

И сбежала по лестнице.

Через два часа, окончательно проснувшись, я впервые за три дня проверил мейл. Среди всё более срочных писем с работы было и письмо от Саши:

«Давид, привет! Отправляю тебе часть своих записей о том, что мы вчера обсуждали, с газетными цитатами и цифрами. В музее сохранилось несколько актов и описей того времени.

Например, акт от 3 октября 1942 года свидетельствует, что на основании устного распоряжения господина Ионицу из музея были выданы для Губернаторства: мебель — 40 предметов, фарфор — 34 предмета, бронза, серебро, стекло — 23 предмета, скульптура — 8, картины — 45, среди них — К. Маковский “Ромео и Джульетта”, А. Шовкуненко “Базар”, Н. Бурлюк “Поселок”, К. Колесников “Лунная ночь”, А. Бенуа “Беседка”, работы П. Волокидина, С. Кишиневского и многих других. Фарфор заводов Гарднера, Кузнецова, Попова, Миклашевского, а также изделия Мейсенского фарфора — вазы, статуэтки, посуда, подставки и так далее.

Как видишь, тут упомянута работа Бурлюка, и это, конечно, Давид. Скорее всего, одна из тех, что была получена в 1928 году.

А вот что писала “Одесская газета” 26 февраля 1943 года. “1 декабря 1943 г. директор музея изящных искусств “Потоцкий и Пушкин” Константин Ключ передал Василию Штефану — зав. отделом изящных искусств Дирекции Культуры, Субдирекции Искусств опись вывезенного ранее имущества в Турн-Северин”. Опись на 21 листе составлена на румынском языке, перечисляю выборочно: Сомов (пейзаж), Кандинский “Солнечная дорога”, Нилус “В парке”, “Дамы”, Крыжицкий “Сумерки”, Судковский “Ноябрьское море”, Волокидин “Лодки”, Коровин “Театральный мотив”, Айвазовский “Море”, Васнецов “Христос с

апостолами”, Кузнецов “Шаляпин”, рисунки Браза, Кузнецова, Репина, Серова, гравюры Дюрера, Марка Наттье, Бертолоцци.

29 марта 1944 года сотрудники картинной галереи под руководством исполняющего обязанности директора В.Н. Яковлева составили акт в том, что шеф немецкого отдела культуры и трое сопровождающих его военных выбрали, а затем и вывезли 16 картин, среди них — “Баталия” Орловского, “Берег моря” Судковского, “Птички” Светославского, “Похищение Европы” и “Натурщик” Серова, эскиз Куинджи “Вечер”, эскиз Васнецова, эскиз Рубо “Пустыня”, шесть гравюр Альбрехта Дюрера. Как видишь, это было почти перед самым освобождением Одессы.

Кстати, в конце 1943 года румыны приготовили еще 56 ящиков с экспонатами музея, но вывезти не смогли.

Через несколько месяцев после освобождения Одессы, 7 июля 1944 года, музейная комиссия проверила состояние картинной галереи и составила акт “Об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками”. В нём указано, что за время оккупации, с 16 октября 1941 года по 10 апреля 1944 года, расхищены и вывезены в Румынию картины, скульптура, фарфор, стильная мебель, ковры и прочее имущество. Знаешь, сколько картин пропало? Девятьсот одна. Впечатляет, правда? Сразу скажу, что данные по числу картин, находившихся в музейной коллекции до войны, сильно различаются. Точно так же есть путаница с количеством работ, вывезенных в ходе эвакуации в Уфу и Ташкент. Точный баланс эвакуированного, украденного и возвращённого никто за эти годы не сводил. А возвращались работы не только из эвакуации, но и из Румынии. Есть сведения, что музей эвакуировал 654 работы. Но, скорее всего, здесь учтены и работы из собрания Музея Западного и Восточного искусства.

В 1946 году часть работ из Румынии вернулась. Вот цитата из газеты “Черноморська Комуна” от 15 августа 1946 года: “Одесская картинная галерея пополнилась экспонатами и картинами, вернувшихся из Румынии. Эскиз Александра Иванова на мифологическую тему, рисунки художника Константина Сомова — “Девочка”, “Женский портрет”, офорт знаменитого ученика Репина Валентина Серова — “Октябрь” и эскиз карандашом к картине академика К. К. Костанди, пастель художника Пастернака “В ложе театра”, картина Головкова “Ранняя весна”, Дворникова “Вечер в Одесском порту”, Лаховского “Весна”, одесский пейзаж Ладыженского, Судковского “Море”, Боголюбова “Буря”.

Надеюсь, я не очень утомил тебя цифрами. Как видишь, интересующих тебя имён здесь нет. Кандинский здесь упоминается лишь единожды. Экстер — ни разу. Кстати, этот небольшой пейзаж Кандинского вернулся, он сейчас в музее. Конечно, может быть так, что и Кандинского, и Экстер, и Малевича, и Попову тоже увезли. Но это очень, очень сомнительно. Скорее всего, их попросту не было к тому времени в музее.

А вот что меня действительно интересует — куда делась вывезенная версия “Похищения Европы” Серова. Размером полтора на два метра.

Жму руку, Саша».

Как только я дочитал, пришла смс от дочки: «И как тебе одесские девушки?»

Пока я думал, что ответить, позвонила Настя:

— Давид, привет! Говорила с папой. Он многозначительно хмыкнул и посоветовал тебе связаться с одним человеком, который может кое-что рассказать. Зовут его Евгений Аронович. Телефон сейчас кину.

Одесса — удивительный город. Мало того, что все друг друга знают — говорят же, что в Одессе не принято знакомиться, потому что считается, что все и так уже друг с другом знакомы, — так ещё и все знают, кажется, обо всём.

Евгений Аронович упорно не брал трубку. Я решил прогуляться на Ланжерон, наконец-то потрогать воду. Ноги тем временем сами понесли меня к музею. Я понял это уже посреди Тёщиного моста.

Ну что же, самое время посмотреть экспозицию.

Будучи школьником, я бывал здесь столько раз, что, кажется, мог бы и сам с закрытыми глазами провести экскурсию. И — о чудо — это чувство вновь вернулось. Мне хотелось петь от восторга.

Музей за годы моего отсутствия сильно изменился к лучшему. Он стал чище, свежее и светлее. Куда-то пропал ящик со сношенными войлочными тапочками, которые заставляли обувать строгие смотрители. Да и вообще они теперь стали подозрительно улыбчивыми. До неузнаваемости изменилось фойе. Экспозиция первого этажа — почти без изменений. Вот «Воскрешение дочери Иaira» Макарова. «Пушкин на берегу Чёрного моря» Айвазовского. «Тучка» Куинджи. «Болотные огни» Врубеля, которых я так боялся в детстве, чудесный портрет Кононович работы Серова и его же автопортрет с прилипшей к губе сигаретой. Автопортрет нежно и одновременно горячо любимой мною Серебряковой в костюме Пьеро и её же «Жатва». В том же зале — те самые маленькие пейзажи Кандинского первого десятилетия прошлого века, периода Мюнхена и Мурнау. Второй этаж изменился сильнее. Тут великолепный Нюренберг. «Автопортрет» Глущенко. «Полёт» Ацманчука. Тончайшие, нежнейшие работы Александра Фрейдина. «Сидящий пророк» Ройтбурда.

Из интересующих меня авангардистов в музее лишь пара невзрачных натюрмортов Кончаловского и Машкова. Попытался представить себе в одном из залов Кандинского, Малевича, Гончарову, Попову. Да, это было бы фантастикой.

Обратно шёл по Софиевской. Когда я уезжал, она ещё носила имя Короленко. Съел в «Кларабаре» две порции битков из тюльки. Божественных битков. Потом долго искал хоть какой-то книжный магазин. Наконец нашёл один, на Дерибасовской. Купил «О духовном в искусстве» Кандинского и «Старую Одессу» Александра Дерибаса. Дошёл до Екатерининской площади. Она теперь потрясающе красива. Потёмкинцев, которые, как мы шутили в детстве, искали потерянный рубль, куда-то увезли. На площадь вернули памятник Екатерине и основателям Одессы. Помню, как они — Потёмкин, Зубов, де Рибас и де Волан — стояли во дворе Историко-краеведческого музея, в котором работала моя мама. Теперь понятно, почему в 1901 году на Всемирной выставке в Париже Екатерининская площадь была признана лучшей в Европе.

Это был мой постоянный маршрут — после рисования я шёл из Воронцовского дворца к маме в музей. Всегда через Воронцовский переулок — тогда он был Краснофлотским, — на площадь, а дальше по настроению — или через Сабанеев мост по Гоголя на Халтурина, или по Карла Маркса и потом по Ласточкина до той же Халтурина, сейчас снова Гаванной. Если шёл по Карла Маркса, всегда покупал в кафе «Картопляники» жареный пирожок с повидлом. Стоил он пять копеек. Иногда я думал о нём всё занятие.

Как-то раз в переулке мне чуть не выбили зубы. Группа мальчишек лет тринадцати дралась. Я перешёл на другую сторону, чтобы обойти их. Мысли после занятия были

только о Ван Гогe. Один из них, нагло-самоуверенный, пошёл мне наперерез. Дальше всё было, как обычно — дерзкие вопросы ни о чём, желание спровоцировать драку. Я был спокоен — он был почти на голову ниже. Внезапно он схватил меня за воротник, резко притянул к себе и боднул прямо в челюсть. Кровь я сплёвывал и по пути, и в музее. Это было хорошим уроком для меня — бить в такой ситуации нужно первым.

На улице начало быстро темнеть. Опять поднялся ветер. Я вернулся в номер, позвонил Насте. Она сказала, что очень занята и прийти ко мне не сможет. Одесские девушки не только красивы и умны, но и чрезвычайно легкомысленны.

Ветер за окном становился всё сильнее. Отвечать на мейлы с работы совершенно не хотелось, и я стал читать о Сименоне.

Хоть убейте, не пойму, как можно написать четыреста двадцать пять романов. И успевать при этом постоянно путешествовать, фотографировать, вести богемный образ жизни и уделять время своим лучшим половинам. Половин у Сименона было три, а вообще женщин — больше десяти тысяч. По крайней мере, так утверждал он сам.

В Одессе он бывал дважды, в 1933 и 1965 годах.

В первый раз он приплыл в Одессу из Стамбула на итальянском пароходе «Квиринале» вместе с первой женой, художницей Тижи, и двумя приятельницами. Поселился в «Лондонской», в 35 номере. Ездил по Одессе на роскошном «Линкольне», предоставленном перепуганными властями. Фотографировал одесситов и особенно одесситок, которые радостно ему позировали.

Вместе с автомобилем к Сименону приставили и переводчицу с очень одесским именем Соня. Которая, разу-

меется, была сотрудницей ГПУ. И водила его только туда, куда было можно и нужно — в Украине в то время свирепствовал Голодомор. «Подопечный» всё довольно быстро понял. Серии репортажей из Одессы, опубликованных в парижском еженедельнике «Le jour», он дал говорящее название — «Народ, который хочет есть».

Сименон не был бы самим собой, если бы не отправился в Одессе на поиски приключений. Разумеется, сексуальных. Сделать это под неусыпным надзором Сони было непросто, но он смог. Напарником его был бармен с итальянского парохода. А девушки, которых они нашли, оказались потом осведомителями ГПУ. Что не помешало писателю получить удовольствие.

«Привет! И зачем, скажи, пожалуйста, ты мне посоветовала читать о Сименоне? На что ты намекаешь?» — написал я Насте.

«Это же элементарно! После приезда из Союза он написал роман “Люди в доме напротив”. А консультировал его, погружая ещё больше в советские реалии, Илья Эренбург», — ответила она.

«И что?»

«А то, что жена Эренбурга училась в Киеве у твоей Экстер».

Я был окончательно и бесповоротно посрамлён.

«Они очень умны. Зато я делаю йогу», — ответил я наконец дочке.

Хорошо, что в номере толстый ковёр. Удобно делать перевёрнутые асаны.

Около девяти зазвонил телефон. Звонил Евгений Аронович.

— Добрый вечер! Я видел ваш звонок, но ответить не мог. Шаббат. Чем могу быть полезен?



— Мне порекомендовали вас как человека, который может помочь. Я интересуюсь работами Александры Экстер. А ещё — пропавшими из музея работами Кандинского и Малевича.

Евгений Аронович молчал.

— Алло?

— Да-да, я тут. Хорошо, подъезжайте. Пишите адрес. Когда будете внизу, у входной двери, позвоните мне снова на этот номер. Жду вас завтра в двенадцать.

Нет, это не город, а просто средоточие тайн и загадок. Хорошо, что в беззаботном советском детстве я даже не догадывался о тайной жизни художественной Одессы. Я тогда просто мечтал писать морские пейзажи.

Утром я пробежался по Потёмкинской лестнице. Вниз и вверх. Считал ступени, но сбился.

Ровно в двенадцать я стоял под домом Евгения Ароновича. Он жил напротив развалившегося Массонского дома, построенного в конце девятнадцатого века знаменитым Бернардацци. Через пять минут после моего звонка покрашенная давно выцветшей красной краской железная дверь, наконец, открылась. Из неё выглянула всклокоченная седая голова.

— Давид?

— Да, Евгений Аронович. Это я.

Он приоткрыл дверь, высунул голову наружу, посмотрел подозрительно по сторонам и пропустил меня вовнутрь.

— Идите за мной.

Мы поднялись на четвёртый этаж почти полностью заброшенного дома. Сутулый, долговязый хозяин в потёртом почти до дыр бордовом халате и тапочках, одетых поверх толстых носков, светил перед собой фонариком.

— Теперь подождите.

Мы остановились перед железной решёткой, которая, по всей видимости, перекрывала проход к его квартире.

— В доме никто не живёт, но в наше время нужно быть чрезвычайно осторожным. Вы понимаете, о чём я.

Я кивнул.

Он отпер решётку, и мы оказались перед бронированной дверью. Наконец и она была открыта, и он жестом пригласил меня войти.

Комнаты большой, когда-то светлой квартиры с высокими потолками уходили анфиладой вдаль. Куда именно, видно не было, потому что ставни были немного приоткрыты только в первой комнате. Вся она была уставлена — нет, завалена — картинами, скульптурами, вазами, какими-то коробками и книгами. Лишь узкий проход между ними, извилистая тропка, вела к столу, тоже, в свою очередь, заваленному бумагами.

— Проходите. Сейчас я принесу вам стул.

Евгений Аронович прошёл во вторую комнату и приоткрыл ставни и там. Она была завалена ещё больше.

Стул, который он принёс, был покрыт толстым слоем пыли. Я постарался незаметно стереть её рукой. Безуспешно.

Его собственное кресло, когда-то, похоже, дорогое, выглядело чуть получше.

— Здесь давно никто не живёт. Точнее, иногда живут художники, которым некуда больше пойти. Тут они и умирают.

Видимо, мой взгляд был слишком выразительным, и он сказал:

— Это случается не так часто.

Я как-то глупо кивнул.

— Почти всю свою жизнь я собираю архивы. Когда кто-то из художников умирает, мне обычно звонят их

родственники, и я приезжаю выкупать то, что от них осталось. Картины меня интересуют в последнюю очередь, а в первую — письма, дневники. Читая их, я проживаю чужие жизни.

Я опять глупо кивнул.

— Так вас интересуют работы Экстер?

— Да.

— Мне они, конечно, попадались. Но за пять десятков лет тут скопилось столько всего, что я уже плохо помню, где что лежит.

— А слышали ли вы о работах Кандинского, Малевича, Поповой, которые пропали из художественного музея.

Он снял очки, протёр их полый халата, водрузил на нос, посмотрел на меня и после короткой паузы сказал:

— Из музея пропало многое. В девяностых, да и пораньше, мне часто приносили вещи художников первого ряда. И передвижников, и Бенуа, и Серебряковой. Иногда не догадывались даже отклеить музейные бирки. Потом это прекратилось.

— Неужели и Малевича с Кандинским приносили?

— Нет. Их не приносили. Те, у кого они могут быть, прекрасно понимают, что продавать их нужно не здесь.

— То есть... Они у кого-то могут быть?

— Имеющий уши да услышит.

— Алексеев сказал мне, что их могли увезти в Румынию. По другой версии, их уничтожили после ареста Эмского-Могилевского.

— А то, что они до сих пор могут быть в музее, вам в голову не приходило?

— В смысле в музее?

Я был ошарашен.

— Ну вы же в музее бывали?

— Конечно. Много раз.

— А на чём он стоит, знаете?

— В смысле на чём? На Софиевской улице. Или... вы имеете в виду...

— Именно. Он стоит на катакомбах. Вы в гроте бывали?

— Один раз. Давно. Со школьной экскурсией.

— То-то и оно. Гостям музея показывают лишь малую часть подземных ходов. Ходят упорные слухи, что прямо из грота раньше можно было выйти и к морю, и в сад, которого сейчас уже нет. Он ведь когда-то был роскошным — таким, что туда спускались даже императоры. Потоцкие-Нарышкины устроили там фонтан. Говорят опять же, что некоторые ходы вели к большим подземным залам, в которых собирались масоны. Потом большинство ходов перекрыли, что-то засыпали, где-то устроили ямы-ловушки. Но всегда были те, кто знал эти ходы как свои пять пальцев.

— Вы хотите сказать...

— В шестидесятых там делали большую реставрацию. И вполне могли найти то, что было спрятано в конце тридцатых.

— И об этой находке никто не узнал? Никто не проболтался?

— А вы бы проболтались? В те годы авангард всё ещё не был в моде. Ну, а позже болтать было тем более бессмысленно. Я же сказал вам — продавать эти работы нужно не здесь. Но как их отсюда вывезти? А если удастся вывезти, как продать без шума? Вопросов слишком много.

— Но ведь работы из коллекции Федоркова так нигде и не выплыли...

— Вы правы.

— То есть... вы уверены, что Кандинского с Малевичем нашли?

— Я и так сказал вам слишком много. Только потому, что за вас попросили. Дальше думайте сами. Вариантов много.

— Да-да, большое спасибо... Могу я оставить вам визитку? Вдруг найдётся что-то из Экстер?

Он молча показал взглядом на стол.

— Пойдёмте, я вас провожу.

Мы спускались вниз в полной тишине. Уличный свет после тёмной лестницы показался ослепительным.

Я позвонил Насте. Объяснил, что завтра улетаю. Пригласил на обед. Нужно было выговориться.

На этот раз она не отказалась. Предложила встретиться в «Тавернетте», самом итальянском одесском ресторане. Ну, или наоборот.

Я сразу понял, что разговоры об искусстве её не воодушевляют.

— Мне папа за двадцать лет все уши прожужжал. Мечтаю наконец отдохнуть.

— Во сколько же он начал?

— Мне было шесть.

— Ты выглядишь моложе.

— Да ладно тебе. Расскажи лучше о себе. Чем ты занимаешься в свободное от искусства и семейных хлопот время?

— Семейных хлопот сейчас немного. Дочка уже в университете. Так что, возвращаясь из банка, предоставлен сам себе.

— Нам с тобой можно давать призы за самые тонкие наводящие вопросы.

— Это точно.

— А можно о банке подробнее?

— Это инвестиционный банк. Большой. Но я так давно там работаю, что рассказывать о нём совсем неинтересно.

— А мне, наоборот, интересно. Я ведь тоже работаю в банке.

— Я сразу почувствовал в тебе родственную душу.

— Ну да, ну да... У нас, правда, банк локальный, но мне всё равно интересно. Пока.

— Не хочу тебя обидеть, но ты никогда не поймёшь, что такое масштаб, пока не поработаешь в международном банке. Желательно не в Одессе.

— Я это понимаю.

— Почему же ты здесь сидишь? Почему не уедешь? Приезжай ко мне, я попробую что-то придумать.

— Мы могли уехать ещё в девяностых. Папа сказал, что кто-то должен и в родном городе остаться. Кто-то должен быть дежурным по Одессе. Я с ним согласна.

В «Тавернетте» восхитительный тартар и салат из помидоров с сыром. Лимонный тарт. Груша в вине. И феноменальный сгруппино — просекко с лимонным сорбетом.

— Я к тебе сегодня не пойду. Мы должны узнать друг друга поближе. Но в гости, может быть, приеду, — сказала Настя, целуя меня на прощанье.

Она снова пахла морским бризом.

— Бог мой, что у тебя за духи?

— Пока! — рассмеялась она. — Расскажу при следующей встрече!

Мне хотелось выпить, но я пошёл к себе делать йогу.

Летел домой через Вену. По пути читал Кандинского. Он здорово упорядочивает мышление.

Вечером третьего по прилёту дня, придя с работы почти ночью, я наконец проверил почту.

В ней было письмо без подписи, отправленное с анонимного почтового адреса.

В письме была фотография работы Экстер. Эскиза костюма для Эльзы Крюгер.

Моего эскиза.

## ЭКСПРЕССИОНИСТ

— Он был чудаком. Гениальным чудаком. Одним из тех чудаков, чья судьба интересна многим, но никто не желал бы её повторить.

Родители назвали его библейским именем Давид. Хотя, даже не зная его имени, любому было сразу же понятно, что принадлежит он к библейскому народу, который, будучи изгнанным из дому, расселился чуть ли не по всей земле. Нашему городу повезло — в лучшие годы евреев тут была добрая треть.

Соломон Львович снял с носа очки, протёр их и без того кристально чистые стёкла и снова водрузил их на нос.

— Дедушка, ты уже тридцать лет живёшь в Вене, но до сих пор называешь Одессу «нашим городом».

— А как иначе? Ты прочитал, кстати, слова Жаботинского об Одессе, которые я прислал тебе год назад, как раз в конце декабря?

Соломон Львович с улыбкой посмотрел на смутившегося Леона.

— Можешь не отвечать. Надеюсь, хотя бы к моему возрасту прочтёшь. И не забудь — на языке оригинала!

Он завёл эту традицию десять лет назад — собирать у себя в конце года всю семью, детей и внуков. Тогда ему было шестьдесят. За это время количество внуков прибавилось, более того — появился первый правнук. И вот сегодня — фулл хаус. Они с женой, трое детей, пятеро внуков и правнук.



— Папа, скажи, как ты мог выбрать для жизни Вену? Ты, который с утра до вечера рассказывает об одесском море и солнце?

Приехавший из Неаполя старший сын, Илья, не слишком сильно рисковал — именно он привёз родителям правнука.

— Вы же всё знаете сами — в восьмидесятые Вена была одной из главных остановок на пути из Союза. Подавляющее большинство евреев тогда уехало дальше, а я застрял. Застрял в паутине искусства.

— Да уж, застрял основательно.

Мила, средняя дочь, кивнула головой в сторону тянущейся в обе стороны от отцовского кабинета анфилады комнат, все стены которых были от пола до потолка увешаны живописью. Стеллажи в дальних комнатах тоже были забиты ею битком. Соломон Львович с женой Розой жили тут же, на втором этаже, прямо над своей галереей, в нескольких комнатах, которые Роза смогла с боями освободить от картин.

Соломон Тульчинский стал за эти тридцать лет одним из крупнейших венских торговцев искусством. Немецких, австрийских, чешских, венгерских художников он знал так хорошо, словно родился и вырос тут, в австрийской столице, причём вырос в семье потомственных торговцев живописью и антиквариатом. Слушая его немецкий, сложно было догадаться, что школьные годы он провёл на Молдаванке. Выдавало его лишь то, что стены его кабинета были увешаны работами исключительно одесских художников.

— Папа, не слушай их, продолжай.

Лёня, младший сын, прилетевший к отцу из Нью-Йорка, давно уже просил его рассказать о художнике, чьи экспрессивные и порой слишком эротичные работы с круп-

ными подписями, сделанными рукой ребёнка, занимали у отца целую стену. Имя Давида Тихолуза он слышал от отца многократно. У Лёни был свой мотив — своего сына он тоже назвал Давидом.

И вот, наконец, папа созрел.

— Вы же знаете, что мы с братом всю свою жизнь занимаемся поисками талантов, недооцененных мастеров и незамеченных работ, у которых есть потенциал. Открыть талантливую художника — огромное счастье, такое случается лишь раз или два в жизни. Для этого должно совпасть слишком много факторов. Давида Тихолуза открыл, увы, не я. Его открыл мой давний одесский друг Славик, галерист и коллекционер. Но я приложил руку к тому, чтобы Тихолуз стал известным. Хотя продлилась эта известность совсем недолго.

Родителей его никто не видел. Судя по всему, они умерли довольно рано, когда он был ещё юношей. Воспитывали Давида дядя с тётёй. Дядю звали Зелик Блуверберг, и он был художником. Именно от дяди к Давиду пришла та искра, то желание рисовать, которое стало в его жизни главным. Давид восхищался дядиным творчеством, хотя на самом деле Блуверберг был весьма скромным графиком, не добившимся никаких значимых результатов — у него даже не получилось стать членом Союза художников. И всё же дядя спас племянника дважды — в первый раз дав ему профессию, а во второй — позволив хоть как-то выжить в девяностых. Именно за дядиными работами приходили поначалу в ужасную квартиру Давида перекупщики. Сотни отсыревших листов лежали в ней повсюду. Собственные работы Давида тогда никого не интересовали.

— Ой, папа, расскажи об ужасной квартире! — воскликнула Мила.

— Дойдёт и до неё очередь, потерпи немного. Хотя о том, как выглядели родители, можно было составить себе представление. По крайней мере, я видел однажды в руках Давида портрет его отца — крупная голова в профиль, белая рубашка, галстук. Типичный одесский инженер. Давид говорил, что жили они недалеко от художественного музея. Возможно, отец немного стеснялся выходить со своим немного странным сыном на люди, но, в конце концов, его поведение не выходило за пределы нормы, а для родителей их ребёнок всегда самый лучший.

С помощью таланта и дядиных связей Давид смог поступить в Одесское художественное училище, которое так и не окончил. О годах его учёбы сейчас ходят легенды — вроде бы он учился там семь лет, из них четыре — на первом курсе, откуда его постоянно отчисляли и вновь принимали. То, что он не от мира сего, бросалось в глаза сразу, и хотя в среде художников это выглядело естественнее, чем в среде, например, инженеров или экономистов, но всё же и там это было немного слишком. Рассказывают, что от кабинета к кабинету Давид ходил медленно, чуть ли не прижимаясь к стене, чтобы никому не мешать, и избегал любых разговоров. Полнейший социопат. Но на самих занятиях часто менялся — прилив вдохновения меняет поведение. В конце концов его выгнали окончательно и бесповоротно — после того, как он написал постановочный портрет всего тремя красками, синей, зелёной и красной.

Внезапно прозвенел звонок. Все вздрогнули.

— Это Сёма. Явился — не запылится, — улыбнулся Соломон.

— Я открою, папа. Сиди, — поспешил сказать Илья.

Пока он спускался из хранилища в галерею на лифте, вся семья сгрудилась у окна, из которого виднелся Ште-

фансдом. Стоявшие у входа Семён с женой, словно почувствовав, что на них смотрят, подняли головы вверх и помахали им.

Через минуту они уже были в кабинете Соломона. Семён был младше брата на семь лет, и в кругу венских арт-дилеров, *Kunsthändler*, об их с женой Кирой стильных нарядах ходили легенды. Вот и сейчас Семён пришёл в каком-то невообразимом цилиндре и с новой тростью в руках. Он словно пытался стать персонажем одного из многочисленных портретов венских буржуа начала девятнадцатого века, которыми была завалена его «Галерея старых мастеров».

Увлечения брата одесскими художниками он не разделял.

— Ты так и не снял со стен своего Тихолуза? — быстро оглядевшись по сторонам, насмешливо спросил Семён. — Или по-прежнему надеешься продать его кому-то как Сутина?

— Для этого придётся очень постараться. Давид подписывал свои работы со всех сторон. Разве что ты мне можешь, — парировал Соломон.

— Сёма и Шлёма, — вдруг отчётливо произнесла Милена.

Четырёхлетняя дочка Милы была голубоглазой блондинкой, жила с родителями в Вене и была всеобщей любимицей.

Мила покраснела, но все расхохотались. Любивших взаимные перепалки братьев так частенько называли, и они прекрасно об этом знали.

— Дядя Семён, папа как раз рассказывает о Тихолузе, — сказал Лёня.

— Ну что ж, любопытно будет послушать. Со мной он делиться не любит.

Жена укоризненно взглянула на Семёна.

— Молчу, молчу.

— Вот именно. Слушай молча, — сказал Соломон. — Так на чём я остановился?

— На том, что Тихолуза выгнали из училища, — сказала Мила.

— Да-да, точно. Где, как, на что он жил в восьмидесятые и девяностые — совершенная тайна. Говорят, он подолгу лежал в психбольнице. Говорят ещё, что одно время дружил с Кирой Муратовой и её мужем Евгением Голубенко и регулярно у них столовался, пока Голубенко не выгнал его из дома — якобы Давид начал неровно дышать к Кире Георгиевне. Я не удивлюсь, если он делал какие-то бестактные предложения — сексуальность в нём всегда была через край, но сочеталась она с дичайшей социопатией. Жил Давид одиноко, в совершенной нищете и в таких ужасных условиях, которые даже на Молдаванке редко найдёшь.

— Папа, ты обещал рассказать о его квартире, — напомнила Мила.

— Ладно. Я приехал нему в 2008 году, почти сразу после того, как его «открыли». Жил он на Заньковецкой, совсем недалеко от нашего бывшего дома, в крепком дворцовом флигеле, на первом этаже. За дверью, оббитой ужасно засаленным и рваным дерматином, мне открылось царство даже не чудака, а сумасшедшего. Сквозь редкие оставшиеся на полу доски проглядывала земля. На верёвках в узком коридоре висели гроздь дурно пахнущей старой одежды. Крошечная кухня, соседствовавшая с туалетом, была грязной до невозможности, при этом на стенах висело множество порнографических фотографий, собранных, похоже, в течение нескольких десятилетий. В двух комнатах царил полумрак — свет почти не пробивался сквозь давно не мытые окна. А главное — по всей квартир-

ре был разлит удушающий смрад, вызванный невероятной сыростью. Обоев на стенах давно не было, от них остались лишь зеленоватые разводы. Повсюду были навалены отсыревшие книги, рисунки, листы печатной графики, доставшиеся от дяди. И картонки, холстики — работы уже самого Давида. Так как единственный круглый стол был полностью завален книгами, рисовал Давид у окна, на узком подоконнике — днём туда едва пробивался скупой свет. Единственной свисавшей с потолка голой лампочки ему было явно недостаточно.

— Впечатляет. Но ты же любишь такое, — покачивая носком начищенной туфли, насмешливо сказал Семён.

— Сёма, не придуривайся. Вспомни, где ты вырос.

— Дядя Семён, пожалуйста, позвольте папе рассказать. Второго шанса услышать эту историю может не быть, — сказал Лёня.

— Хорошо. Молчу.

— При этом любой, кто брал в руки его работы, сразу понимал, что имеет дело с талантом. Энергия просто была с этих отсыревших картонов. Естественно, ни в каких выставках Давид не участвовал. Естественно, он о них мечтал. Он рассказывал о том, что иногда выставлял свои работы дома, на полу, вдоль стены, и ясными ночами их освещала луна. Он называл это лунным вернисажем.

Открыли его совершенно случайно. Ангел явился ему в виде Алёны, спивающейся торговки со Староконного рынка. В тот день она случайно оказалась в Городском саду, где художники иногда продавали свои работы. Начался дождь, и ничего, как обычно, не продавший Давид уныло поплёлся восвояси. Одна из работ выпала из папки прямо в лужу, но он этого не заметил. Алёна где-то слышала о том, что искусство — это ценность, и на живописи можно заработать. Она подняла картонку, догнала Давида

и предложила её купить. Тот был поражён до глубины души. С тех пор она стала ходить к нему домой, покупать за гроши живопись и рисунки и продавать их с небольшой (ей она, наверное, казалась огромной) наценкой.

У моего приятеля Славика был на Староконном свой человек, «бегунок» по имени Саша, который выискивал там спрятанные сокровища. Одесса, конечно, не Вена, но всё же и там никто никогда не знал, какой шедевр могут вынести на продажу родственники умершего художника или новые владельцы расселяемых коммунальных квартир, в которых десятилетиями накапливались кем-то когда-то любимые вещи. Произошло неизбежное — Саша увидел Алёну и работы Тихолуза, которые она раскладывала на старой клеёнке, расстеленной прямо на асфальте. Работы эти произвели на видавшего виды Сашу такое впечатление, что он в невероятном возбуждении позвонил Славику и сказал, что тот должен увидеть всё сам. Славик увидел, остолбенел и купил всё, что было у Алёны в тот раз.

Семён, а следом за ним и все присутствующие в комнате, за исключением лежавшего в коляске правнука, невольно посмотрели на стены. С многочисленных картонов и холстиков на них смотрели изображённые в невероятных эксцентричных позах обнажённые женщины, фигуристики и гимнастки, невероятно грудастые снежные бабы с ярко-красными сосками, ярко-красные же сочащиеся арбузы, штормовое море, двухэтажные дома Молдаванки, портреты стариков и множество автопортретов.

— Да уж, экспрессионист чистой воды. Это не Коровенко. Но и не Сутин, конечно, — произнёс Семён.

— Ты даже знаешь фамилию Коровенко? — спросил с иронией Соломон.

— Да так, изредка интересуюсь на досуге.

— Да, это не бесконечная серия портретов дворян в костюмах восемнадцатого века, которые годами создавал прятавшийся от публики Василий Коровенко. И не радостная, наивная в лучшем смысле слова живопись Евгении Ганичевой, писавшей на обороте своих работ фразу «Спешите делать добро». В лучших своих образцах живопись Тихолуза полна экспрессии и животной страсти. И да, это не Сутин. Но Сутин, Сёма, не был сумасшедшим. Во всей истории с Тихолузом есть одна вещь, которую я ценю больше всего.

— Какая же?

— Скажу позже.

— Ладно. Так что там было дальше?

— Работы Тихолуза заметил не только Славик. Их начали покупать коллекционеры и перекупщики. Слухи о нём дошли и до директора музея современного искусства. Тот приехал к нему домой и был потрясен до глубины души всем — и условиями жизни, и талантом художника. Он предложил Тихолузу бесплатно снабжать его красками и холстами и обещал выкупать всё, что тот нарисует. Так в квартире Давида появился первый мольберт. Попал к нему домой и Славик, просто вынудивший своего «бегунка» дать ему адрес. Впечатление, то есть потрясение, было таким же. Получив первые деньги, Давид тут же обзавёлся подругой. Когда я пришёл к нему впервые, она голой по пояс лежала на грязном матрасе, постеленном прямо на полу, и читала книгу, не обращая на меня ни малейшего внимания. Давид сказал тогда, что зовут её Ольга, по образованию она филолог и обожает Мандельштама. Сам он часто принимал гостей в плавках. Но ты же знаешь — тех, кто часто общается с художниками, трудно удивить.

Соломон сделал паузу и вновь с улыбкой посмотрел на брата:



— Хотя... Тех, кто общается с живыми художниками. Ты этого не любишь.

— Соломон, это уже слишком, — в голосе Киры зазвучала обида.

— Тётя Кира, не обращайтесь внимания, — сказал Мила. — Папа, так что было дальше?

— И в пятьдесят четыре года на Давида обрушилась слава. К славе вообще мало кто готов, а уж тем более человек такой душевной организации. Две его персональных выставки, одна за другой, открылись в декабре 2008-го во Всемирном клубе одесситов и в Музее Западного и Восточного искусства. Первые в жизни выставки. Обе организовал Славик, купивший к тому моменту добрую сотню его работ. Перед открытием он волновался, не понимая, как Давид будет себя вести. На удивление, тот чувствовал себя совершенно уверенно, рассказывая на телекамеры об учёбе в художественном училище и своих художественных предпочтениях. Видно было, что он ошеломлён свалившимся на него счастьем. Славик рассказывал, что, когда Давид догадался о том, что именно он устроил эти выставки, то долго благодарил, говорил, что никогда не представлял, что его картины могут висеть в музее, да ещё и в таких рамах. Для одесской публики Тихолуз стал совершенным открытием. Поражало всё, но в первую очередь контраст между силой живописи и образом художника — его детскостью и наивностью. Каждая работа была подписана по нескольку раз, снаружи и на обороте. Детским почерком, крупными буквами. Чаще всего так: «Давид Тихолуз. Одессит, художник, еврей». Но часто можно было увидеть и более подробные подписи. Например, вот.

Соломон поднялся, снял со стены небольшой портрет, перевернул его и начал читать:

«Портрет моей тёти Хавуси. Это портрет моей родной любимой тёти Хавы Кисилевны Оксман, сестры моей матери и большой любительницы кошек, очень способной и умной женщины, рассказывавшей мне маленькому сказки “Про мыша”. Автор “Портрета старушки” — Давид Наумович Тихолуз. Одесса, 1975 год».

— Или вот. — Соломон взял в руки небольшой пейзаж. Одесские крыши, кроны деревьев. Серый, серебряный, зелёный. — Он называется «От души — душе». Пожалуйста:

«Писал пейзаж Давид Наумович Тихолуз в 17 лет в Одессе, в переулке Сеченова (бывшем Рождественском, номер девять, квартира шестнадцать).

Подписал Давид Тихолуз в двадцать шесть с половиной лет, год рождения тысяча девятьсот пятьдесят четвёртый, одиннадцатого декабря.

Этот пейзаж призван. Теперь, когда после девяти лет лежания за шкафом, как безумный пейзаж, теперь, когда в двадцать шесть с половиной лет отроду я вновь вешаю его на стену, он призван напомнить мне, что тогда, в семнадцать лет, я был хорошим человеком! И не таким, как теперь.

В этом пейзаже заключено всё моё тогдашнее мировоззрение и мироощущение. Вся моя душа в то время, когда я был очень молод и глуп.

Пейзаж написан с маленького искреннего этюдника художником-живописцем и колористом. Искренно!»

— Да уж, впечатляет, — вырвалось у Ильи.

— Сочетание не сочетаемого всегда поражало в нём тех, кто с ним общался, а особенно видел впервые. В 2009-м мы записывали с Давидом интервью. Для записи пригласили его в кафе. Он говорил умные, парадоксальные вещи, при этом жадно, причмокивая, поедая сэндвич. Он расска-

зывал о том, что уже в училище его стали называть экспрессионистом, говорили даже, что у него лицо экспрессиониста, и он с этим соглашался. Говорил о том, что главное для него в живописи — колористика. Цитировал Ван Гога, Джерома Клапку Джерома, Лермонтова, читал наизусть Мандельштама. Говорил ещё о том, что был одно время увлечён поисками синего цвета, как Матисс. Оказалось, что в детстве его возили в Москву, в Пушкинский музей и Третьяковку, и он ярко это помнит. А современных выставок, естественно, не видел, ездить никуда не может, никаких планов не строит. Да что я, собственно...

Соломон поднялся, достал с одной из полок тонкий том со странным названием «Смутная алчба», перелистал страницы.

— Вот, послушайте. Концовка нашего интервью поразила меня тогда больше всего:

«Многие люди строят для себя планы на следующий год. На 2010 год какие-то планы у вас есть?»

— Я читал Дарью Донцову, как тётка спрашивает свою племянницу, совершенную недотёпу-ученицу, которая никак не могла учиться и страшно всех этим раздражала. Она её куда-то собиралась отдать замуж. И спрашивает её эта тетка: “Есть ли у тебя какие-то планы на будущее, девочка?” Ну, она и ответила: “Колготки достирать, телек поглядеть!”

Вот и у меня — планы работать. Создавать красоту. Я хочу сказать, что мне нравится в искусстве красивое, и не просто красивое, а та красота в природе, которая способна сделать человека лучше хотя бы на короткое время. Мне кажется, искусство должно пробуждать доброе. Хотя художники в основном это делают, слава Богу. У них этого не отнимешь. Но у каждого есть что-то, что ему лучше отвечает. Как говорил Бальмонт: “Я в мир пришел, чтоб видеть солнце”. Мне кажется,

что он сильно это сказал, но мне солнце всегда очень нравилось. Египтяне, ацтеки, — все они уважали Солнце. Даже обычай печь блины в России тоже был связан с древним обрядом поедания Солнца. Ну, в России всегда свой менталитет. Там Солнце старались съесть. А я, как говорится, типичная жертва искусства. Так как говорят, что искусство требует жертв, так вот, перед вами типичная жертва искусства. Но всё же я сторонник того, чтобы на жизнь иметь светлый взгляд, веселый и по возможности добрый. Для этого надо наслаждаться красотой природы и попытаться куда-то выйти за пределы города.

Я не какой-то там страшно верующий. Я просто, скорее, может быть, атеист. Но дело в том, что я так люблю изучать всякие старинные тексты, что только теперь на старости лет я прочёл некоторые такие из давно известных книг, типа Евангелия, Библии, еврейских молитв. На досуге это тоже развлечение. Как-то неудобно абсолютно ничегошеньки не знать о том, во что верил твой народ или другие народы. Ведь это даже создавало культуру. Сколько художников Средневековья кормилось только благодаря изображению Девы Марии! Только ленивый и глупый не написал Мадонну. Это же было то же самое, что Ленин для скульпторов.

Ленина один скульптор гладил по лысине и чуть ли не со слезами благодарил: “Кормилец ты наш...”. Может, так же Мадонна или Христос. Ведь это же скольких художников он кормил и поил! То же Распятие. Бедного еврея распяли в 33 года, и вот сколько столетий он кормил и поил художников! Я плачу: где мои 33 года по глупости? 33 года — это роковой возраст. Я же говорил, что я жертва. Но даже не искусства, а жизни. А искусство эту жизнь как-то освещает. Если что-то и может осветить нашу жизнь, то это, наверное, солнце и искусство».

Соломон замолчал и закрыл книгу.

Молчали и все вокруг.

Наконец Семён произнёс:

— Мощно.

— Да, мощно.

И почти всё это время Давид жевал свой сэндвич, а в конце завернул не съеденные корки в салфетку. Когда я предложил просто заказать ещё один, он ответил:

— Не нужно. У меня практически нет зубов, так что эти корочки я буду дома размачивать в тёплой воде и потихоньку жевать.

— Боже... — вырвалось у Милы.

— А что было дальше? — спросил Семён.

— Эти две выставки оказались первыми и последними в его жизни. Неожиданная, пусть весьма скромная, слава и вдруг появившиеся деньги сыграли с Давидом злую шутку. Работы больших форматов, которые он пытался делать на заказ, в большинстве своём были слабыми. Он сам признавался, что давно отвык писать на больших холстах. Работы были неровными, всё чаще и чаще слабыми. Тем не менее, он не забывал регулярно просить за них деньги в музее, иногда даже приезжая туда на такси — неслыханная прежде роскошь, — и даже подшофе. После одного из таких визитов в дальнейшем сотрудничестве ему отказали. Внезапно возникшую известность, как вы знаете, следует тщательно поддерживать, но Давид, конечно, не был на это способен. Первые восторги прошли, и очень скоро о нём опять забыли. Работами его интересовались лишь немногие одесские коллекционеры. Более того, их начали подделывать — благо, это было несложно, — что ещё больше ударило по его только-только наметившемуся достатку. Весьма и весьма относительному.

— Даже так? Подделывать? — удивлённо спросил Семён.

— По крайней мере, об этом ходили упорные слухи. И он опять вернулся в то состояние, в котором пребывал всегда — в состояние одиночества. Одинокий, наивный, беспомощный, честный романтик.

Когда Давид говорил о том, что не строит особых планов на 2010 год, он словно предчувствовал свою кончину. Солнечным декабрьским днём он шёл по Екатерининской улице, внезапно пошатнулся, лёг под дерево и умер.

Для тех, кто его не знал, в свои пятьдесят пять он выглядел дико — бедно одетый человек не от мира сего, со стёршимися зубами, одутловатым лицом и крашеными в белый цвет волосами. И если даже сбитого трамваем Гауди в родной Барселоне узнали не сразу, то никому практически не известного художника Тихолуза в Одессе могли не узнать никогда. Родственников у него не было, денег тоже. Но Давиду повезло — он был евреем. В кармане лежала единственная бумага из «Хеседа», она-то его и спасла. В дело включился реб Велвл Верховский, и в полном соответствии с еврейскими традициями на следующий день Давида похоронили на еврейском кладбище. Святое братство, «Хевра кадиша» взяло на себя расходы, как обычно это бывает при похоронах одиноких или бедных евреев.

О его смерти узнали не сразу. Когда узнали, несколько коллекционеров пыталось получить в полиции разрешение на доступ в его квартиру, понимая, что всё, что там находится, безвозвратно пропадёт. Из этого ничего не вышло. Что стало с наследием Давида, никто не знает.

Через год после его смерти в Клубе одесситов прошла выставка его памяти — на ней были работы из частных коллекций.

После этого о нём забыли окончательно.

— То есть у него было всего два года счастливой жизни? Ну, относительно счастливой? — спросила Мила.

— В том-то и дело, что нет. Я думаю, что вся его жизнь была счастливой.

— Странное утверждение, — пробурчал Семён.

— Я объясню. Я ведь поначалу думал точно так же, как и вы. Но потом, живя рядом с этим работами, — он окинул взглядом стены, — полностью пересмотрел свои взгляды. В его жизни было то, что всегда вытягивало его из пучины безумия, из одиночества, из отчаяния. Это была живопись. Он ведь беседовал со своими картинами. Все эти записи на обороте — фрагменты этих бесед.

И ещё две вещи — удивление перед красотой мира и страсть.

Страсть, которую он выражал с помощью своей живописи, давала ему смысл жить, давала энергию выживания. Это было даже не сублимацией сексуальной энергии, а прямым её применением.

— Папа, осторожно, нас слушают дети, — тихо сказала Мила.

— Пусть слушают. Они ведь и появились на свет благодаря этой энергии. А удивление и восхищение миром были частью его мировоззрения — мировоззрения большого ребёнка, наивного философа, блаженного человека.

Все замолчали.

— Шломо, ты меня не убедишь. Я всё равно буду продавать скучные пейзажи своих скучных австрийцев. На них, по крайней мере, есть платежеспособный спрос.

— Да, но ведь живопись тем и прекрасна, что имеет, кроме денежного выражения, что-то гораздо большее, Сёма. И ты сам прекрасно это знаешь. Иначе не проводил

бы дни и ночи в поисках не замеченных другими шедевров. Ты же сам говорил, что влюбляешься в каждую новую купленную тобой работу.

— Я влюбляюсь в неё до того, как куплю.

— Я до сих пор поражаюсь, как ты умудряешься жить за счёт своего бизнеса, если покупаешь больше, чем продаёшь.

— То же самое я думаю и о тебе, — улыбнулся Семён.

— Ну что же, пойдёмте пить шампанское, пока это позволяют наши финансовые возможности, — воскликнула со смехом Роза.

Соломон обнял брата, и они пошли в зал.



## ТРЕБНИК ТРОИХ

За окном вечерело. Ранняя московская весна не давала никаких надежд на скорое тепло. В номере Давида Бурлюка в Романовке — большом многоквартирном доме, что и ныне стоит на углу Тверского бульвара и Малой Бронной, — собрались ниспровергатели основ.

— Маруся, поставь, пожалуйста, чайник, — сказал Бурлюк жене и повернулся к собравшимся.

— Друзья, мы с вами должны дать название нашему новому сборнику, — Давид Давидович поправил монокль в глазу, достал из нагрудного кармана карандаш и положил перед собой рукопись. — Какие будут идеи?

— Так... «Садки судей» уже были, общественному вкусу пощёчины раздали... — проговорил задумчиво Маяковский, шагая из угла в угол. — Может быть, «Зачатье новых веж»?

— А как тебе «Лиловый рыбий глаз»? — спросил Бурлюк.

— Нет, тут нужен вызов. Мы должны бросить название прямо в сальные заспанные лица обывателей! — парировал Маяковский. — Тут должно быть что-то раскатистое, на «р»! Вот такое, например: «Раз! Два! Три!»

— Почему «Раз-два-три»? — спросил удивлённо Бурлюк.

— Потому что нас трое! И все мы — гении! Вот, так и назовём — «Три гения»!

— Почему три? — возразил Бурлюк. А Коля? Он сейчас придёт.

— Потому что четыре гения — это уже слишком, Додичка!

— Друзья, вы так серьёзно к этому относитесь, словно складываете не книжечку футуристических стихов, а какой-то требник, ей-Богу! — сказал вдруг до этого молча сидевший на стуле возле рояля Хлебников. — По-моему, самое лучшее название — «Ликующий солнцезвон».

— Витя, опять ты за своё, — покосился в его сторону Бурлюк.

— Требник, требник... — бормотал себе под нос Маяковский, продолжая ходить по комнате.

— Кстати, староверы говорят не «требник», а «потребник», — продолжил Хлебников.

— Отлично! — воскликнул Маяковский. — Это то, что нужно! Назовём сборник «Непотребник троих»! Так и запиши, Додичка!

Бурлюк занёс над рукописью карандаш, на секунду задумался и начал писать.

— Непотребное какое-то название, — тихо, но твёрдо сказал Хлебников. И, помолчав, продолжил: — Ну раз уж требник... Назовём так — «Хлебник троих»!

Бурлюк замер, оторвал руку от рукописи и изумлённо посмотрел на Хлебникова.

— Это почему ещё «Хлебник троих», Витя? — спросил он. Опять ты за своё?

— Я Велимир! — ответил обиженно Хлебников. И ты сам всем говоришь, что я гений. Мои стихи — первые в сборнике. И «Хлебник троих» — прекрасное название.

— Нет, ну как вам это нравится? — вскипел Маяковский. — Значит, он — гений! А мы тогда кто? Я требую назвать сборник «Маяк троих»! Он будет освещать нам путь в тёмном, я бы даже сказал — мрачном море современной поэзии!

— Ну, друзья, знаете ли... — пробормотал Бурлюк. — Вы, похоже, забыли, кто тут у нас папа. Отец русского футуризма. Сборник будет называться так: «Бурлючник троих».

И он снова начал писать.

— Почему троих? — ехидно спросил Хлебников? — Коля же должен сейчас прийти!

— Точно! — спохватился Бурлюк. Тогда будет «Бурлючник четверых». Нет, даже пятерых — Володя будет делать иллюстрации. И Надя... Так, «Бурлючник шестерых», — и продолжил зачёркивать и писать новые названия.

— Ну, знаете ли, друзья... С таким подходом мы нормального названия не придумаем. Я уйду играть в карты с Колей Асеевым — он давно меня ждёт. И вообще, я задунал программную трагедию и хочу наконец засесть за её написание.

Маяковский засобирался, надел пальто и шляпу. За ним начал собираться и Хлебников.

— Друзья, подождите. Вы опять спешите уходить, — заволновался Бурлюк. — Витя, ты поел? Маруся, дай Вите тёплые носки!

Бурлюк полез в карман, достал оттуда два металлических рубля.

— Друзья, возьмите немного денег. Сейчас так трудно жить. Поэтам — в особенности.

Хлебников небрежно бросил металлический кружок в карман пальто и тряхнул головой, синяя шотландскими глазами в темноте прихожей.

— Нет, Маруся, ты только посмотри — у него глаза точно как тёрнеровский пейзаж! — восторженно сказал Бурлюк. — Ну что ж, ладно. Завтра отнесу рукопись в печать — пусть пока набирают, а название мы успеем придумать.

Когда дверь за друзьями закрылась, Бурлюк обнял подошедшую Марусю, и они долго смотрели, как за окном исчезают последние лучи солнца и загораются одно за другим окна в доме напротив.

Минут через двадцать в дверь позвонили. Это был Коля.

\* \* \*

2 и 4 декабря 1913 года в театре «Луна-Парк» состоялась премьера трагедии «Владимир Маяковский», главную роль в которой сыграл сам автор.

Алексей Кручёных позднее вспоминал:

«Маяковский до того спешно писал пьесу, что даже не успел дать ей название, и в цензуру его рукопись пошла под заголовком: “Владимир Маяковский. Трагедия”. Когда выпускалась афиша, то полицмейстер никакого нового названия уже не разрешал, а Маяковский даже обрадовался: “Ну, пусть трагедия так и называется: “Владимир Маяковский”».

Со сборником «Требник троих» произошло то же самое — «гилейцы» вскоре приняли активное участие в выпуске третьего сборника «Союза молодёжи», и знакомые Маяковского, издатели Г. Л. Кузьмин и С. Д. Долинский, напечатавшие незадолго до того сборник «Пощечина общественному вкусу», просто выбрали из каракулей на обложке рукописи самое благозвучное название.

## ПОЭТ ТОНЧАЙШИХ

— Что вы можете сказать о поэте Тончайших?

— Поэт Тончайших был неплохим поэтом.

— Как жил поэт Тончайших?

— Поэт Тончайших жил неплохо. Даже хорошо жил. Иногда к нему заходил поэт Хлебников, и они вместе крылышковали. Однажды Тончайших изобрёл золотописьмо.

— Какие странности были у поэта Тончайших?

— У поэта Тончайших были вот какие странности. Он очень любил есть прибрежные травы. Частенько, крылышка золотописьмом, он укладывал в кузов пуза много трав.

— Что вы можете сказать о Зинзивере?

— С Зинзивером мы не встречались.

— Что ещё вы можете добавить к своим словам?

— Ничего. Это всё, что я могу сказать о поэтах Тончайших и Зинзивере.

## SUB ROSA

21 декабря 2014 года потомственный главный бухгалтер Константин Сергеевич Долгоруков пришёл с работы домой и сел за обеденный стол. Он был дома один, супруга с работы задерживалась, и, собственно говоря, он мог бы усесться на диван или даже в кресло, ведь стол был пустым. Тем не менее, он сел именно за него, повинувшись неясному ещё внутреннему порыву. Захотелось думать о чём-то прекрасном и даже записывать свои мысли. Константин Сергеевич попробовал было встать и пойти в соседнюю комнату за листом бумаги и карандашом, но внезапно это показалось совсем неважным.

Он закрыл глаза, и поток невнятных образов увлёк его. Ему словно начали показывать кино, и он был настолько этим фильмом очарован, что собственные мысли оказались вовсе и ненужными, куда-то отступили, никак не мешая той звенящей тишине, в которой он вдруг оказался.

Он находился то в центре, то сбоку огромного цветка, у которого вместо отмирающих старых выросли всё новые и новые лепестки. Цветок был огромным, рос из воды и казался ему то лотосом, то розой. По сравнению с этим цветком сам он был просто крошечным, но это его никак не беспокоило. Иногда ему казалось, что сам он — один из этих лепестков. Иногда — что просто сторонний наблюдатель.

Вдруг Константин Сергеевич ощутил рядом с собой некое присутствие кого-то величественного и вместе с тем прекрасного. И эта величественность его тоже совсем не пугала.

Без всякого интеллектуального напряжения и сомнений он вдруг осознал, что это Бог. Осмыслить его он даже не пытался, но попытался почувствовать.

И ему это удалось.

Легко и естественно он понял, что два главных чувства, которые испытывает — это чувства любви и абсолютной защищённости. Ничего плохого больше никогда не могло произойти.

Слёзы сами собой покатались из его закрытых глаз. Он был абсолютно счастлив.

Так же, с закрытыми глазами, он услышал, как открылась дверь. Жена позвала его с порога, и, не дождав-шись ответа, вошла в гостиную. Постояла возле него молча, с некоторой тревогой спросила, всё ли в порядке, погладила по голове и ушла на кухню.

Роза продолжала распускаться, но как-то поблекла — если вначале она была то красной, то золотой, то теперь стала то сдержанно бежевой, то голубоватой. Чувство божественного присутствия стало слабее. Ощутимо слабее. Появились мысли. Он вспомнил вдруг, что состояние полного отсутствия мыслей испытывал перед этим лишь однажды, сидя ранним утром на галечном пляже в Гурзуфе, когда волны, накатываясь и убегая, переворачивали камни. Мысль эта была ему сейчас совершенно не нужна, но отогнать её, как и последующие, он уже не мог.

Постепенно он начал приходить в себя. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Осторожно открыл глаза. Взглянув на часы, удивился — он просидел так почти полтора часа.

Того, что с ним случилось, жене он объяснить не смог. Не хватало слов, а те, что были, казались по сравнению с пережитым ничтожно пустыми.

Если бы он увлекался мистикой, глубже разбирался в философии или в истории религий, то непременно бы

вспомнил, что уже в Упанишадах лотос, растущий в океане бесконечных рождений и смертей, представлял собой проявленную вселенную. Возможно, вспомнил бы, что Брахма, бог творения в индуизме, создатель вселенной, родился именно из цветка лотоса, выросшего из пупка Вишну.

Занимайся он йогой, наверняка бы вспомнил, что падмасана названа именно в честь лотоса, а каждая из семи чакр имеет форму лотоса разного цвета и с разным количеством лепестков. И, без сомнения, вспомнил бы и то, что в западной культуре место лотоса как центра мироздания и символа вечно обновляющегося мира занимает именно роза.

Может быть, он вспомнил бы средневековую легенду о чуде с розами и символ розенкрейцеров. Начал бы припоминать богов и святых, атрибутами которых является этот цветок.

И уж точно, стопроцентно решил бы прочесть наконец «Розу мира» Даниила Андреева.

Но все эти далёкие от прикладной, практической пользы и не имеющие экономической составляющей знания Константина Сергеевича никогда не интересовали. Были ему совершенно чужды. Поэтому никакие такие мысли и ассоциации в его голову не приходили.

Но, возможно, в тот момент они бы ему даже помешали.



## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

В самый первый раз Виктор задумался о смысле жизни в пять лет.

Он даже начал было чувствовать, что разгадка недалеко, но в ванную вошла мама и сказала, что нельзя так долго сидеть на горшке.

Второй момент откровения случился после первого секса, в семнадцать. Счастливый, он лежал на спине, раскинув руки, и Марина нежно прижалась к нему, положив голову на плечо.

Вот эти первые минуты после секса — самые лучшие для того, чтобы думать о чём-то вечном.

— Милый, давай попробуем ещё раз? — нежно прошептала Марина.

— Конечно, любимая, — ответил Виктор, вздохнув обречённо, но незаметно.

Не получалось подумать ни в университете, где он без особого рвения учился на юриста, ни на работе, в торговой компании. Всё время кто-то отвлекал — то профессора, то начальники. Был, правда, один счастливый день, когда всё руководство внезапно разъехалось, в офисе было тихо и спокойно, и Виктор сидел один в курилке, наслаждаясь медленными послеобеденными минутами. Внутри него, как тогда, в детстве, что-то шевельнулось, мысли блуждали далеко-далеко, и ответ на так волновавший его вопрос вновь забрезжил неподалёку.

Размышления прервал ворвавшийся в курилку начальник службы безопасности.

— Витя, быстро вниз, у нас на проходной маски-шоу.

Стало понятно, почему начальство так неожиданно исчезло, но размышлять было уже некогда.

Наконец Виктор женился.

«Как удачно! — подумал он. — Жена будет вести домашнее хозяйство, а у меня будет время думать».

Медовый месяц почти оправдал его ожидания. Правда, первые две недели в Кемере пролетели, как один миг, потому думать было некогда. Но на третьей неделе молодожёны поехали в Затоку, чтобы продолжить пляжный отдых, только уже в своих, родных местах.

Широкий бескрайний пляж, горячий песок, шум волн — что может быть лучше для размышлений? Виктор лёг на спину, закрыл глаза рукой — солнце слепило немилосердно, — и погрузился в себя. Рядом лежала Даша, она тоже закрыла глаза, и казалось, что она спит.

«Вот оно, счастье, — подумал мельком Виктор и снова попытался сосредоточиться».

— Милый, ты не мог бы сходить на базарчик через дорогу и купить там вяленой рыбки? Хочется чего-то солёненького, — сказала Даша и улыбнулась.

За годы супружеской жизни Виктор научился многому: готовить и гладить постельное бельё, чинить детские велосипеды и правильно выбирать мясо. И даже красиво выходить из сложных ситуаций, когда их мальчики в очередной раз отчебучивали что-то в школе. Не получалось только одного — подумать. Собственно, думать особо было некогда. Длительных командировок у Виктора не было, в отпуск всегда ездили вместе с женой... Хотя нет, вру. Был один случай. Жена с детьми пошли тогда на концерт, и он остался дома один. Стоял воскресный июльский вечер, жара; Виктор любил жару. Он вышел на балкон с сигаретой и

бокалом белого вина. Давно забытое чувство внутренней гармонии начало побуждаться в нём, и где-то рядом, казалось, были ответы на вечные вопросы — вот они, рукой подать...

Но — внезапно зазвонил телефон, жена забыла дома билеты, пришлось срочно одеваться и везти их к театру.

К пятидесяти он впал в апатию. Количество оставшихся лет убывало, как светлое время суток поздней осенью; он многому научился, многое видел, но ответ на главный вопрос — зачем всё это, — так и не нашёл.

Когда спустя тридцать лет он серьёзно заболел, жена, дети и почти уже взрослые внуки ни на секунду не оставляли его без внимания и заботы.

В тот день он почувствовал — сейчас или никогда. Говорить уже не было сил, и он начал стонать.

— Мальчики, приезжайте срочно, — кричала жена в трубку.

Через час все собрались в его комнате. Он силился что-то сказать, но получалось с трудом. Наконец он прохрипел:

— Выйдите все, дайте наконец подумать!

Прохрипел и умер.

Родные не успели даже обидеться.

Два года спустя, разбирая отцовские книги, старший сын нашёл маленький томик Платона с закладкой на семьдесят шестой странице. Строка за строкой на ней и двух следующих были жирно подчёркнуты.

«И в самом деле, по-видимому, какая-то непроходимая тропа удаляет нас, и мы никогда не сможем в достаточной мере достигнуть того, к чему стремимся и что мы называем истиной, пока у нас будет тело и пока к душе будет примешано это зло. И в самом деле, тело создает для нас бесчисленные препятствия из-за необходимости питать его; а если, сверх того, постигнут нас ещё какие-либо болезни, то они мешают нам стремить-

ся к существу. Тело наполняет нас вожделениями, страхами, всякого рода призраками, пустяками. И правильно говорят, что, действительно, из-за тела нам никогда не удастся ни о чем даже поразмыслить. Только тело и присущие ему страсти порождают войны, восстания, бои; ибо все войны ведутся из-за приобретения денег, а деньги мы вынуждены приобретать ради тела, рабствуя пред уходом за ним.

И вот, в результате всего этого, у нас не остается досуга для философии. А, в конце концов, если даже у нас и окажется досуг и мы обратимся к какому-либо исследованию, опять-таки тело, во время наших разысканий, постоянно вмешиваясь, производит в нас волнение и страх, так что из-за него не удаётся различить истину. Таким образом, мы приходим на деле к такому заключению: раз мы хотим когда-либо узнать что-либо в чистом виде, нам надлежит освободиться от тела и смотреть на самые вещи при помощи только души».

— Мама, похоже, мы никогда не понимали папу, — сказал он, зайдя в кухню.

— Не занимайся глупостями, сынок. Вытри лучше с верхних полок пыль. Мне уже тяжело.

## ДВА ПАПЫ

Теперь всё сошлось.

Удивительно, как я не заметил этого раньше.

Хорошо, что понял сейчас. Ведь всё так очевидно. Они были такими разными — и в то же время похожими. Родились в один и тот же день. Первый, художник, был старше на семнадцать лет, но пережил второго почти на шесть.

У обоих был повреждён левый глаз. Одному даже пришлось его удалить, и всю жизнь он носил искусственный. Не представляю себе этого. Не представляю, какие именно искусственные глаза делали сто лет назад. Наверняка они были тяжёлыми и твёрдыми. Потому и приходилось напрягать всё время мышцы лица. Потому недоброжелатели и называли его «кривомордым». А как с таким глазом спать? Нужно ли было класть его в стаканчик, в специальный раствор, как вставную челюсть? Вопросов много. Плюс во всём этом был один — не пришлось идти на войну, погибать за родину. Говорят, он даже вынул на спор где-то на Дальнем Востоке свой глаз, чтобы доказать офицеру, что непригоден к военной службе. Доказал. Выжил — единственный из братьев. Войну и насилие всю жизнь ненавидел. Вспоминал с ужасом, как отец брал его с собой на охоту, и пришлось однажды добивать перочинным ножом зайца.

Другому повезло больше. Глазной дефект был врождённым, достался ему от матери, но внешне не был заме-

тен, потому популярностью у женщин он пользовался гораздо большей, чем первый. Но на войну всё равно не взяли. А он хотел. Очень хотел. И поехал на неё, обрадовавшись кадровому набору Красного Креста. Отцовские уроки охоты и рыбной ловли воспринял с восторгом — и не мыслил свою жизнь без них. Как и без войны — после первой, спустя девятнадцать лет, принял участие во второй, а затем и в третьей.

Оба страстно любили море и не мыслили свою жизнь без яхт. Первого в это втянули сыновья, и он написал сотни холстов с палубы небольших семейных парусных лодок — только такие они могли себе позволить. Он даже завещал развеять свой прах с борта любимой яхты, что сыновья с внуками и сделали.

Яхта второго была моторной, он владел ею целых двадцать семь лет, и название её стало именем нарицательным. Правда, и тут он не мог обойтись без войны — охотился на своей моторке за немецкими подлодками. И ловил, бесконечно ловил рыбу — всех этих марлинов и акул. Чего первый терпеть не мог. Интересно, что в своём предпоследнем романе, полностью посвящённом жизни в море, он представил сам себя в образе художника.

Оба прожили большую часть жизни на островах. Оба любили Флориду. Первый устроил выставку на Кубе год спустя после того, как второй, живший как раз там, получил Нобелевскую премию. Второй, конечно, об этом не знал, да и вряд ли вообще догадывался о существовании первого. Первый же второго читал и ценил.

Рождение в один день. Повреждённый левый глаз. Страстная любовь к морю. Мало того — обоих во второй половине жизни называли «папами». Они никогда не бы-

ли друг с другом знакомы. Но с тех пор, как я прочёл в детстве биографию второго, я мечтал стать автором книги в этой существующей уже почти девяносто лет серии. И, только написав биографию первого, понял, как много в их судьбах удивительных совпадений.

## ОЛЕГ АРКАДЬЕВИЧ

Ему было четырнадцать, когда он записал в своём дневнике: «Хочу стать поэтом. Мой идеал — Лермонтов». В том же году были написаны первые, неуклюжие стихотворения, которые он, стесняясь, читал на занятиях поэтической студии во дворце пионеров. Окна студии выходили на море и Приморский бульвар, носивший тогда никому ничего не говорившее имя Фельдмана.

Одесские пейзажи не могли не найти отклик в тонко чувствующей душе. Вскоре он поступил в художественное училище — чтобы походить на Лермонтова окончательно.

В семнадцать он открыл в себе способности предсказывать будущее по почерку. Это казалось удивительной забавой, пока знакомая девушка не утонула в море точно тогда, когда он ей это предсказал.

После этого он дал себе слово заглядывать лишь в своё собственное будущее. Своё и ближайших друзей. Получалось с трудом — желающих приоткрыть завесу тайны было множество.

В двадцать он записал в дневнике:

«Повторяя чужой почерк, я проникаю в самую гущу мыслей человека. Я вижу мир его глазами, испытываю его чувства. Возможно, если я получу доступ к рукописям Лермонтова, я смогу разгадать секрет его таланта. Стать великим поэтом».

В двадцать два он ушёл на фронт. Воевал в кавалерийских войсках, был ранен, контужен. Лечился в госпитале в Пятигорске. В 1944-м писал оттуда сестре Татьяне:



«Поэзия. Она убила во мне много хорошего. Вообще поэзия — это искусство, ведущее к пропасти душевной, а нередко и к смерти.

Лермонтов. Я был в Пятигорске. Ну и местечко. Я в долгу перед пятигорскими улицами, цветниками, горами. Целую и невредимую встретить после резни мечтает Олег сестру...».

Тогда же он начал писать поэму «Лермонтов в Пятигорске». Она давалась с трудом. В 1946-м, вернувшись в Одессу, записал в дневнике:

«Хочу бросить всё и уехать в Москву, Ленинград, засесть в библиотеках над рукописями Лермонтова и разгадать, наконец, тайну гения».

Художник на время победил в нём поэта. Вместо столиц он уехал во Львов, учиться в институте декоративно-прикладного искусства. Там он чудом раздобыл полное собрание сочинений Лермонтова под редакцией Эйхенбаума. В нём было и факсимиле рукописей поэта.

Справиться с искушением было невозможно.

В 1948-м он записал в дневнике:

«Внутренняя борьба изматывает меня. Хочу стать великим, но не хочу терять себя. Вторым Лермонтовым стать невозможно. Попробую стать собой».

Позже, вернувшись в Одессу, он выпишет тринадцать цитат Оскара Уайльда и прикрепит их на стену. Первой была знаменитая: «Будь собой. Прочие роли уже заняты».

Он устроится на работу в Музей Западного и Восточного искусства и каждую свободную минуту будет рисовать. Рисовать и писать стихи. Больше всего он будет любить работать ночами. Даже выработает специальную систему, привязанную к лунному календарю — именно

в эти ночи через него проходил космический поток. Четвёртое число, седьмое, одиннадцатое, четырнадцатое, семнадцатое, двадцать первое...

Спустя некоторое время друзья и коллеги стали называть его «великим». Это не было шуткой, не было иронией, он действительно был таким. И не только благодаря блестящей эрудиции, ораторскому дару, таланту рисовальщика. Он опередил своё время, стал первым одесским концептуалистом и самым «не советским» человеком в городе. Железный занавес не мог ему помешать — он чувствовал все новейшие тенденции в искусстве.

В день своего пятидесятилетия, 15 июля 1969 года, он предсказал год своей смерти. А спустя несколько дней записал в дневнике:

«Я хотел стать собой. Наверное, стал. Но кто это — я? И что во мне — собственно моего? А что — великого князя Олега Константиновича Романова, реинкарнацией которого, по словам матери, я являюсь? Мать никогда не лгала, а Романов тоже писал неважные стихи...

Может быть, в нас нет вообще ничего своего, и мы — просто сгустки энергии воспоминаний? То, что кажется моим, это коллаж из того, что я — все мои “я” — видели, слышали, читали в этой и прошлых жизнях? И Лермонтов — тоже часть всех нас?»

Спустя десять лет он написал:

«Стать самим собой невозможно. Невозможно и стать кем-то другим. Не нужно искать себя, нужно просто работать, творить. В творчестве лжи нет.

Искусство есть выражение зашифрованной формулы духа. Я учу улавливать пульсацию искусства во всём».

День его похорон был пасмурным и дождливым. Друзья и родные прятались под зонтами. За минуту до того, как гроб закрыли, на ветку прямо над могилой сел голубь, а пробившийся внезапно сквозь тучи солнечный луч осветил его лицо.

## РЕВАЗ ЛЕВАНОВИЧ

Резо Габриадзе часто приезжал в Одессу и подолгу сживал в нашем Всемирном клубе одесситов, проводя часы за беседой с прекрасными Менделеевичем и Аркадием. В силу своей глупости я не придавал этому значения, воображая, что мои казавшиеся неотложными дела важнее общения со спокойным, улыбчивым пожилым мужчиной, масштаба личности которого я тогда не понимал. И даже то, что у меня в кладовке лежали разрисованные им чемодан и «задник» для нашего спектакля «Смехач на крыше», не меняло ситуации.

Однажды Аркадий попросил меня перевезти Реваса Левановича с чемоданом из знаменитой «Лондонской» в гораздо более скромную гостиницу «Чёрное море». Главным её преимуществом, тем не менее, была близость к дому самого Аркаши и его прекрасной Нины, которые каждый вечер принимали Резо у себя. У меня в то утро был свободный час, и я согласился.

В номере у Резо был форменный кавардак. Я с тоской оглядел разбросанную по кровати, креслам и столу одежду и книги и понял, что за час не управлюсь.

— Помочь вам собраться?

— Да, пожалуйста, дорогой, — ответил он с улыбкой. — Эти вещи выпрыгивают из чемодана, как только его откроешь, и потом начинают жить своей жизнью.

Реваз Леванович говорил неторопливо, двигался неспешно, и через несколько минут я вдруг понял, что все

мои планы — форменная чепуха, а главное — быть рядом с ним как можно дольше и слушать его как можно внимательнее.

Я отменил тогда все свои дела и два дня, с утра и до вечера, расспрашивал его обо всём на свете, начиная от смысла жизни и заканчивая возникновением Вселенной. Мы часами сидели в кафе, а когда уставали, ездили по городу, который он знал не хуже Тбилиси. Он чётко говорил, какие дома хочет увидеть, и удивлял меня своим восхищением старыми металлическими решётками на окнах.

— Посмотрите на это солнышко, — говорил он. — Вам это кажется банальным, но безымянный мастер старался украсить жизнь.

В следующий его приезд в Одессу друзья поселили его в частной квартире на Екатерининской. Он чувствовал себя неважно, редко выходил из дому, и я принёс ему бумагу, краски и карандаши, чтобы он не скучал.

На следующий день он попросил меня позировать. Портрет вышел очень пёстрым, и, честно говоря, узнать меня на нём непросто. Единственная, пожалуй, точно угадываемая деталь — это хохолок, вихор на голове, который всегда торчит, когда меня коротко постригут. Реваз Леванович рисовал фломастером, пером, но больше всего — пальцем, обмакнутым в акварельные краски. Глаза мои получились зелёными, грустными, с уголками, опущенными вниз. Менделеевич с Аркашей, первыми увидевшие портрет, тут же позвонили мне и сказали, что настоящий мастер увидел в моих глазах то, чего не вижу я сам, а именно всю скорбь еврейского народа. Я заметил только, что еврейской скорби во мне — ровно на четверть, а остальные три четверти — русская, украинская и даже польская скорбь.

Кроме Реваза Левановича, еврейскую скорбь в моих глазах с тех пор никто так и не заметил. То был, наверное, последний его приезд в Одессу. Мы виделись спустя много лет в Тбилиси, но времени поговорить по душам уже не было.

А я часто вспоминаю самый первый наш разговор в пиццерии на Большой Арнаутской.

— Как прекрасно, что этот молодой человек выучился готовить пиццу в печи, — сказал он, глядя на споро работавшего юношу. — Главное в любой стране — это ремесленники. Не страшно, если за границу уедет какой-нибудь писатель или художник. Страшно, если уедет главный бухгалтер лимонадного завода.

Уезжать или оставаться — вопрос для одесситов всегда актуальный.

Спросил его об этом и я.

— Зачем уезжать из такого города? Просто живите тут, и вы познакомитесь со всеми интересными людьми современности.

Я его не послушал.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Никто, конечно, мне не верит. Все думают, что это — ловко сделанная фальшивка. Никого не убеждает то, что я жил с ним в одном дворе. Никто не верит в то, что мы могли с ним подружиться. Действительно, мне было одиннадцать, а ему почти пятьдесят. Но подружиться в таком случае даже легче. Хотя мы были очень разными. Мне страшно нравились все эти вооружённые солдаты, выстрелы по вечерам, валяющиеся на улицах гильзы. Красные флаги. Его всё это ужасало. Наверное, потому он и уехал. Я долго не знал, куда. Потом уже узнал о Париже.

Больше я никогда его не видел и писем от него, разумеется, не получал. Да и как вы представляете себе письмо из Парижа в почтовом ящике коммунальной квартиры на Баранова, 27?

Перед отъездом он принёс мне рукопись, завёрнутую в плотную коричневую бумагу. Принёс и попросил надёжно спрятать, лучше — закопать.

— Ты мальчишка, тебя никто не заподозрит. Запомни только место. Я обязательно вернусь за ней. Не раскрывай её и не читай. Обещаешь?

Я пообещал.

Он крепко пожал мне руку.

Я сделал всё, как он просил.

Много лет спустя я узнал о том, что он умер.

Рукопись сейчас у меня дома. Теперь, когда можно всё, я пытаюсь её опубликовать. Но издатели лишь смеются, увидев заголовок:

«Иван Бунин. Окаянные дни. Часть вторая».

## **БОРХЕС И ОН** **(ЛИТЕРАТУРНЫЙ READY MADE)**

Я написал о Нём. Я — это, как и Вы, вольный гражданин Мира. Он — Единственный Великий Поэт, крыловейный Мудрец. Футурист-Песнебоец. Живой Памятник на глыбе Своего Творчества.

Это он, Борхес, причастен к суетной жизни. Я же тихо брожу по Буэнос-Айресу и, быть может уже неосознанно, замедляю шаги перед аркой портала или вязью чугунной решетки.

Я и Он. Два лица, два существа, два друга, две дороги рядом, два бога, два дьявола. Я — это когда вкусно и плотно обедаю, пью вино, чёрный кофе, курю дорогую сигару. Он — это когда в полетах птиц, в движеньи ветра, в изгибе радуги, в травоцветеньи или в ритме прибойных волн моря — видит мудрый смысл песни: И где-нибудь в шатре на Каме Я буду сам варить картошку, и, засыпая с рыбаками, вертеть махорочную ножку. Он — всегда в творческом созерцаньи. Он — бесплотен и лёгок, как ангел. Я же — весь в суете человеческих дел и непрерывных событий. Я всегда — со всеми в куче муравейника. Он — одинок, высок и оснежен вечностью — будто вершина Казбека. Я коммерсант или кавалер, пассажир или рабочий, квартирант или слежу за чисткой щиблет и зубов. Я — главное — издатель Его сочинений, антрепренер Его лекций — гастролей, устроитель Его выступлений — триумфов.

О Борхесе я получаю известия по почте и вижу его фамилию то в списке на замещение профессорской должности, то в словаре персоналий. Мне нравятся географические карты, шрифт восемнадцатого века, этимологии, песочные часы, вкус кофе и проза Стивенсона. Другой имеет те же пристрастия, но он их слегка афиширует и тем превращает в аксессуары актёра.

Он — трепетно — гордо любит Книгу, а я занимаюсь распространением. Он — любит подарить Книгу Свою, а я предпочитаю продать и получить деньги. Он — сгорая в увлечении — читает лекцию и следит за красотой стройности речи, а я думаю о кассе. Его часто приглашают выступить с речью или со стихами, и Он никогда не подумает о гонораре — меня же гонорар интересует нервно, и я жду высокой заработной платы, как этого ждет каждый мастер у своего станка. Ведь я знаю — Ему необходима вольная, широкая, многогранная, яркая, феерическая жизнь. Жизнь — Поэта Жизни. Жизнь — путешествующего бога с подарками. Жизнь — открывателя апельсиновых рощ.

Неверно думать, будто мы питаем вражду друг к другу. Я живу, я стараюсь жить, чтобы Борхес мог сочинять свои книги, а эти книги меня оправдывают. Без ложной скромности можно сказать, что ему удались кое-какие страницы, но мне от этого мало проку, ибо удача, я думаю, уже не личная собственность — даже того, другого, — а достояние речи и литературной традиции. В конечном счете, мне предназначен уход из жизни, раз и навеки, и лишь на одно мгновение я смогу себя пережить в другом. Мало-помалу я отдаю ему всё, хотя вижу в нем пагубную склонность к вымыслам и преувеличениям.

Я строго автономен в жизненной борьбе, как Он в своем Творчестве. Часто мы не мешаем друг другу, а иногда расходимся во взглядах и начинаем состязаться в истинности положенья. Побеждает тот из двух, кто в данный момент окрасится ярче, острее, звучальнее.



Спиноза мыслил, что сущее хочет всегда оставаться самим собою: камень хочет остаться камнем, тигр — тигром. Мне же надо быть Борхесом, а не собой (если вообще я был кем-то), но в его книгах я теперь себя вижу реже, чем во многих других или в искусном звучании гитары. Я и раньше пытался с ним распрощаться — от мифов о наших предместьях перешел к играм на темы времени и бесконечности, но эти игры тешат нынешнего Борхеса, и мне пора придумывать новые штуки. А это значит, что жизнь моя — сплошное бегство, и я утрачиваю все и обращаю все в забвение или в того, другого.

Я много работаю и очень устаю, но никогда никому не жалею: ведь знаю что всем, по существу, наплевать и на меня, и на Него (с особым удовольствием), и на все божественное Искусство. Тупой эгоизм близких, друзей, врагов — одинаково преимуществует. И никому нет дела до меня и Поэта. И если завтра сгинет Поэт с голоду или от гнета нужды — никто может не узнать об этой великой печали: потому что никто не заботился о Нём. Не знаю, кто из нас обоих пишет эту страницу.

## IMMIGRANT SONG

После тихого буржуазного Сен-Максим — недаром его выбрала для летних приездов к теплому морю даже шведская королевская семья — Марсель сразу показался шумным, грязным и — как бы сказать правильнее — несколько небезопасным.

Ровно то, что мы любим.

При этом подземная парковка возле старого порта оказалась на удивление чистой, новая плитка на ее стенах напоминала работы Леже и Мондриана, откуда-то лилась приятная тихая музыка, и мочой начало пахнуть уже наверху, возле самого выхода.

В Марсель мы с женой и дочкой приехали в самом конце нашей короткой вылазки на юг, к морю.

Прага прекрасна, но из нее периодически нужно уезжать, особенно в холодное время года. Особенно в феврале и марте.

К счастью, человечество изобрело лоукостеры.

Ветер в Марселе сбил нас с ног сразу при выходе из самолета. Я, конечно, читал о мистрале, но впервые ощутил его силу только сейчас. Воспользовавшись моим замешательством, менеджер в автопрокате продал мне самую дорогую страховку.

Мы сразу же уехали из Марсея в Сен-Максим, расположенный как раз на полпути в Монако, движимые желанием объехать за четыре дня чуть ли не весь Прованс.

Желанием, конечно же, несбыточным.

Пока я рулил на восток и разбирался в хитростях пользования платными дорогами, жена вслух читала одесские новости.

— Две ракеты попали в порт Южный. Судя по всему, прилично. А сейчас летят «Шахеды».

При этих словах телефон ее завыл — сработала программа оповещения воздушной тревоги.

Эту программу я так и не скачал, хотя нервы у меня, казалось бы, покрепче. С самого начала войны мы жили в двух мирах. В том, где находились в данный момент, где работали, встречались с друзьями, путешествовали. И в мире войны, которая была далеко от нас и одновременно внутри нас.

Время от времени мы пытались перестать читать военные украинские новости, но дольше нескольких часов никто из нас не продержался.

Телефон выл по нескольку раз в день. На ночь жена выключала его.

Сен-Максим, тихий очаровательный городок на берегу залива Сен-Тропе, оказался расположен не так удобно, как это выглядело на карте — до него приходилось добираться добрых полчаса по проложенным среди Маврских гор второстепенным дорогам, съехав с трассы. Зато рестораны на центральной площади у небольшого порта были восхитительны, а в сам Сан-Тропе можно было добраться на пароме всего за полчаса.

Туда мы и отправились следующим утром.

Была чудесная солнечная погода, немного более холодная, чем обычно в это время — так нам сказала милая девушка на ресепшн нашего отеля.

— В прошлом году в это же время возле нашего бассейна не было свободного места. А сейчас, как видите, пусто.

Глядя с борта парома на море глубокого, насыщенно синего цвета, на плывущие по небу белоснежные облака, я вдруг понял, почему на французском флаге именно такие цвета.

К красоте французского юга невозможно оставаться равнодушным, эстетика здесь определяет образ жизни. Судя по всему, она впечатлила в свое время даже мусульманских пиратов — их база, Джабаль-аль-Киляль, располагалась именно тут. Они первыми возродили угасшую после падения Западной Римской империи торговлю предметами роскоши.

Лазурный берег и сейчас средоточие показной и не только роскоши, хотя каких-то сто пятьдесят лет назад он был цепочкой рыбацких деревушек, которые по всем понятным причинам были облюбованы художниками. Такой свет, такое солнце мало где встретишь. Каждый выбрал для себя «место силы». У Жана Кокто это были Ментон и Сен-Жан-Кап-Ферра, Шагал был влюблен в Сен-Поль-де-Ванс. А Сен-Тропе стало вотчиной Синьяка. Двадцать лет подряд заядлый яхтсмен Синьяк приезжал и подолгу жил здесь. Благодаря ему здесь бывали Матисс, Боннар, Марке, Дерен.

В общем, наша программа в Сен-Тропе была очевидной: небольшой, но очень симпатичный музей Аннонсиад с коллекцией работ импрессионистов, от которой после недавней кражи осталась половина, дом-мастерская Синьяка, цитадель, пляж.

К вечеру публика потянулась в рестораны. Один из них, с песчаным полом, шезлонгами и хрустальными люстрами, привел нас в совершенный восторг. Но времени на ужин не было, последний паром уходил через час, и мы нашли чудесное бистро прямо за маленьким павильоном старого рыбного рынка, где съели каждый полдюжины устриц с бокалом белого вина.

Телефон жены снова завыл. Она моментально заглянула в новостную ленту.

— Баллистика, — сказала она. — Три ракеты. Обломки упали на дом, восемь пострадавших.

Война была где-то далеко.

Забуть о ней было невозможно.

Украинок в Сен-Тропе мы встретили всего двоих. Обе работали продавцами в магазинах.

Обратно паром мчался с удвоенной скоростью — девушке-капитану после долгого дня хотелось, видимо, поскорее попасть домой.

Мы с сожалением смотрели на удаляющийся берег и такую знакомую по работам Синьяка колокольню церкви Нотр-Дам-де-л'Ассонсьон. Стало совершенно понятно, откуда на его работах эти малиновый, желтый, фиолетовый цвета.

На следующий день мы поехали туда, куда давно мечтали попасть — на виллу Эфрусси.

Счастливая и несчастная баронесса Беатриса Ротшильд, вышедшая замуж на нашего непутевого земляка, одессита Мориса Эфрусси, вовремя ушла от него, не дожидаясь момента, когда он окончательно промотает свое состояние, и, получив наследство умершего отца, построила дом на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра. Беатрис вдохновлялась французской готикой, была весьма требовательной к архитекторам и обладала прекрасным вкусом. Главное украшение виллы — восемь ее садов, которые располагаются на небольшом участке, но создают иллюзию большого пространства, и на прогулку по ним уходит — с восторженными ахами и вздохами — минимум час.

Беатрис, которую Морис заразил нехорошей болезнью, не могла иметь детей, и на вилле с ней жили любимые собаки, обезьяны и мангусты. Специально сделанные для них креслица и сейчас стоят в ее будуаре. Интересно, знала ли об этом Пегги Гуггенхайм?

За обедом мы вспоминали «Зайца с янтарными глазами», семейную сагу, написанную одним из потомков семьи Эфрусси — Эдмундом де Ваалем, его брата Томаса,

с которым мы когда-то встречались в кафе на Ришельевской, и говорили о том, какой прекрасной была когда-то Одесса. Прекрасной и богатой — настолько, что сделавшие в нашем городе первые большие деньги Эфрусси стали чуть ли не вторыми банкирами Европы.

А еще читали новости.

— Ночью опять были «Шахеды». Семь штук. Взрыв где-то в центре — весь двор разнесло.

Всю весну Одессу беспощадно обстреливали. Пятнадцатого марта ракеты дважды прилетели в одно и то же место — во второй раз специально, чтобы убить спасателя. Погиб двадцать один человек.

После этого одесситы, услышав воздушную тревогу, начали наконец спускаться в убежища.

Беда в том, что убежищ практически не было.

А тревог, наоборот, было много — по несколько за день, и обязательно ночью.

Солнце клонилось к закату, и мы, находясь под огромным впечатлением от виллы Эфрусси де Ротшильд, решили закрепить его, поехав на маяк, знаменитый Кап-Ферра, построенный еще в начале восемнадцатого века, разрушенный в ходе Второй мировой и вновь восстановленный. Машину оставили в переулке Жана Кокто и пошли вниз. Несмотря на запрещающие знаки решили спуститься к морю и — о чудо — нашли прекрасно оборудованную прогулочную дорожку, извиляющуюся прямо вдоль прибрежных валунов.

У каждого из нас есть свои излюбленные места для того, чтобы почувствовать себя частью природы и забыть хотя бы на короткое время, хотя бы на несколько минут о себе, собственном эго, отпустить проблемы и остановить поток мыслей. Кто-то любит горы, кто-то — лес, кто-то забывает о себе на берегу тихого озера.

Для меня лучшим таким местом было и остается море.

Берег у подножия маяка тянется в обе стороны до самого горизонта. Волны, бьющиеся о камни, прогоняют дурные мысли. Если повезет, вообще все мысли.

Закатное солнце опускалось в море прямо напротив нас. Жена с дочкой ушли дальше по дорожке, а я занялся цигун.

Полчаса чистейшего наслаждения.

На ужин поехали в Вильфранш-сюр-Мер. Нашли кафе прямо рядом с капеллой Сен-Пьер, расписанной Жаном Кокто. Он, похоже, оставил следы по всему Лазурному побережью. Добрую сотню лет в капелле хранили рыбацкие сети. Они и сейчас были навалены рядом с ней — и бюстом Кокто.

Мидии, которые я заказал, были, похоже, сварены в морской воде. Вкуснее я еще не пробовал.

— Снова прилетело, — сказала жена, прочитав пришедшее на телефон сообщение. — Баллистика.

Защититься от баллистики в Одессе — дело практически невозможное. Ракеты прилетают из Крыма за две минуты — так быстро, что не успевают даже объявить воздушную тревогу. Ракеты заходят с моря прямо в город, и любое их сбитие — неизбежные разрушения, потому что обломки падают на жилые дома, падают куда попало.

Так произошло и на этот раз — телефон жены завыл на полминуты позже, чем пришла смс от ее мамы.

Люди в кафе вздрогнули. Все, как один, обернулись на нас.

— Черт, забыла выключить звук, — пробормотала виновато жена.

То же самое случалось с нами каждый следующий день. В Монако телефон завыл в чудесном океанографическом музее, в Сен-Поль-де-Вансе — в легендарном ресторане «Золотая голубка».

А еще мы встречали наших. Повсюду встречали наших.

Обед в «Золотой голубке» жена запланировала уже давно. Бронировать место нужно сильно заранее.

Резо Габриадзе рассказал мне как-то о старом французском ресторане, в меню которого была описана его история на фоне истории французской. Причем в истории самого ресторана основным вопросом был такой — нужно ли удлинить на несколько ступенек лестницу.

— Это было примерно так. В 1701 году началась война за испанское наследство, на которой погибли сто шестьдесят тысяч человек. В том же году управляющий рестораном и его хозяин долго размышляли о том, нужно ли добавить к лестнице несколько ступенек.

Решение так и не приняли, решили отложить.

В 1789 году началась Великая Французская революция, за ней — Война Первой коалиции. Управляющий с хозяином снова задумались о небольшой перестройке лестницы. Долго думали, спорили, в итоге решили отложить.

Так проходило десятилетие за десятилетием, в Европе менялись власти, начинались и заканчивались войны, разрушались и восстанавливались города, а новые поколения владельцев ресторана думали о лестнице. И снова откладывали решение.

Традиция — великая вещь. Никакая революция, кроме научной, основанной на той же традиции, ей в подметки не годится.

В «Золотой голубке» сегодня все почти так же, как было при ее основании в 1920 году. Почти так же — за исключением посетителей.

Когда Поль Ру, безуспешно пытавшийся научиться рисовать владетель отеля и ресторана при нем, умирал, у него не было банковского счета, а сумма в наличных, ко-



торую он оставил в наследство сыну, не превышала ста долларов. Зато он оставил ему отель, сплошь увешанный работами друзей и гостей. А их за тридцать пять лет было много. Очень много. И каких! Хаим Сутин, Жорж Брак, Пабло Пикассо, Робер и Соня Делоне, Пьер Боннар, Фернан Леже, Морис Утрилло... Модильяни, Миро, Матисс, Дерен, Паскин, Руо, Дюфи — все они платили за гостеприимство хозяев своими работами или просто дарили их. За несколько десятилетий в коллекции семьи Ру оказалось почти четыре тысячи шедевров. Без всякой охраны они и сейчас развешаны по всему отелю — в номерах, коридорах, залах ресторана. А скульптура работы Александра Колдера вообще установлена возле бассейна. Того самого бассейна, в котором плавали Пикассо, Бельмондо, Ив Монтан и Софи Лорен.

Был, правда, в истории отеля неприятный эпизод — в начале 1960-х из столовой украли несколько работ. Много, а не несколько, скажем прямо: исчезли трое Браков, трое Леже, Пикассо, Модильяни, Бюффе, Дюфи, Миро, Матисс, Боннар, Утрилло, Валадон, Лорансен, Дерен, Базен, Паскин и Руо. Воры оставили одну лишь большую работу Шагала, что немало его расстроило. «Я художник с мировым именем, — сокрушался он. — Почему мою работу не взяли?»

В конце концов всё украденное нашли. И сын Поля, Франциск, конечно же, усилил охрану. Правда, присутствие ее не заметно.

Франциск управлял отелем с 1953 по 2000 год. Уже при нем тут подолгу жили Жак Превер и Франсуа Трюффо, Сартр с Симоной де Бовуар, а Ив Монтан и вовсе сыграл с Симоной Синьоре свадьбу прямо на террасе. На той самой террасе, где и сейчас можно пообедать прямо под керамической мозаикой работы Фернана Леже.

Слава ресторана распространилась не то что во Франции, а далеко за ее пределами, и превратила Сен-Поль-де-

Ванс в место для туристического паломничества. Крошечный городок из пяти улиц, дома в котором срослись друг с другом, а тем, кто попадает сюда, хочется срастись с самим городом. Не зря Шагал приехал сюда за несколько лет до смерти — на могиле его на крошечном местном кладбище всегда лежат камешки. Кто только тут ни жил! Джеймс Болдуин и Бернар Анри-Леви со своей женой Ариэль Домбаль, Дональд Плезенс, Билл Уаймен из «Rolling Stones»...

Нам повезло — наш столик был как раз под мозаикой Леже. Мы трогали ее украдкой много раз.

Сделав заказ, мы тут же побежали внутрь, изучать коллекцию семьи Ру. Возле барной стойки, в глубине первого зала, у ниши, увитой зеленью, сидела за крошечным столиком девушка и что-то рисовала в небольшом альбоме с перекидными страницами. Как ни странно, она была похожа на девушку с портрета работы Клементины Дюфо, который висел ровно напротив, в другом конце зала. Все это — мебель в восточном стиле, белые, увитые зеленью стены, девушка с альбомом — было так живописно, что я не мог совладать с искушением это сфотографировать.

— Можно? — спросил я ее, улыбнувшись.

— Конечно, — ответила она по-английски с таким акцентом, что двух мнений быть не могло. Наша.

Маргарита была родом из Харькова, перед войной жила в Киеве, а с марта двадцать второго года переехала в Париж.

— Мне стыдно признаваться в этом, но, если бы не война, я никогда бы не осуществила свою мечту — переехать в Париж. Денег у меня не было совсем. Сначала мы жили с друзьями в сквотах, столько, сколько получалось. Иногда не выгоняли целый месяц. Купила самоучитель английского, который совершенно не знала, учила главу

за главой и тут же преподавала его онлайн абсолютным новичкам, таким же беженцам, оказавшимся в Европе. Десять евро за урок. Это были громадные деньги! Сейчас я поступила в Сорбонну и сняла комнату. До сих пор не могу в это поверить. Приехала сюда, чтобы увидеть место, о котором столько читала. На обед денег нет, взяла вот кофе и попросила разрешения посидеть тут полчаса. Это просто счастье.

«Стыдно признаться...» Таких историй я слышал множество. От тех, кто приехал в первые дни в Прагу, планируя вернуться домой через две недели и застрявших на два года. От тех, кто всю жизнь мечтал о Лондоне, Вене, Барселоне и Нью-Йорке и внезапно оказался там.

— Домой ездите?

— Ездила один раз к маме. А сестра перебралась ко мне.

Я извинился и пошел дальше. Сделав добрую сотню фотографий, вернулся во двор. Глядя на соседние столы, белоснежные скатерти, на которых были покрыты причудливым узором тени от фигового дерева, понял, что только тут, под этим небом, мог появиться импрессионизм.

Мы ушли из ресторана чуть ли не последними — они закрывались на перерыв перед ужином. На небольшой площади несколько групп мужчин и женщин играли в пентанк. Сходили наверх, посмотреть коллекцию семьи Маг. Обошли вдоль и поперек крошечный средневековый город, заглянули на крошечное кладбище, на котором лежит Шагал — у него и тут потрясающий вид.

Уехали уже затемно.

— Днем прилетело в Крым, — сказала жена, заглянув, наконец, в новостную ленту. — Значит, ночью будут обстреливать Одессу.

Словно внимая ее словам, телефон резко завыл. Тревога.

Перед сном, в кровати, читали новости.

— Прооперировали пса Гектора. Вчера прилетело в Черноморск, в двадцати метрах от дома его хозяев. Вытащили пять осколков. Дрон взорвался на Пересыпи, ранены девять человек. Целый двор разрушен — посмотри на фотографии.

Утром мы выехали в Марсель. Рейс в Прагу был вечером, у нас был день на то, чтобы посмотреть город.

Как мы потом поняли, нужен был не день, а месяц.

Мистраль в этот день был почти нежным. Первым, что мы увидели, выйдя из паркинга, был старый порт, превращенный в марину с тысячами яхт, боками прижавшихся друг к другу.

Это производило огромное впечатление.

Кораблик на остров Иф не ходил из-за ветра. Все рейсы на сегодня и завтра были отменены.

Поездка туда была главным нашим планом на сегодня. Нужно было перекусить и обсудить сложившуюся ситуацию.

Среди длинной череды кафе, вытянувшихся вдоль марины, самым привлекательным показалось рыбное бистро с голубыми маркизами и скатертями в бело-голубую клетку.

Мельком взглянув на нас, управляющий отправил к нам красивую блондинку.

Мельком взглянув на нее, мы поняли — наша.

— Українську розумієте? — спросил я с улыбкой.

— Авжеж, — ответила она.

— Звідки ви?

— З Тернопілю.

«Файне місто Тернопіль», — сразу зазвучало в голове.

Алена приехала с сыном в Марсель сразу после начала войны.

— Почему именно сюда?

— Тут жил мой друг. На первых порах нужен хоть кто-то. Французский я не знала совсем, но нужно было на что-то жить. Я просто пришла сюда и попросилась на работу. И меня взяли. Язык учила уже в процессе. Сначала было ужасно стыдно, а сейчас уже освоилась, да и язык подучила. Ой, хозяйка смотрит, закажите что-нибудь.

Мы заказали фритто мисто и, когда она вернулась, продолжили расспросы.

— Марсель, вроде, не самый безопасный город, а вы такая красивая. Не чувствуете никакого дискомфорта?

— Нет, что вы. Я ходила ночью по самым неблагополучным районам, и никто никогда даже не пытался приставать. Наоборот, предлагали помощь, спрашивали, не заблудилась ли я.

— Привыкли уже тут за два года?

— Да, привыкла. Домой вообще не хочется. Сын учится в гимназии, у него куча друзей, болтает уже свободно по-французски. Вы же видели, что там у нас творится? Куда возвращаться? Зачем? Ну, я пойду, нужно работать.

Рассчитывались на баре. За барной стойкой хозяйничала Ирина из Днепра.

— Я тут уже давно, семь лет. Вы видели, что сейчас в Днепре? Выбивают энергетику, железную дорогу. Знаете что, покатайтесь лучше всего на экскурсионном автобусе, тут в трех минутах подбирают, увидите все достопримечательности за час.

Мы так и сделали. На втором этаже автобуса было ветрено, но потрясающие виды компенсировали это сполна.

Я смотрел на бесконечные ряды яхт, залитые солнцем пляжи, серебрящееся на солнце море, базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард, аббатство Сен-Виктор и форт святого Николая и думал о словах Алены.

«Куда возвращаться? Зачем?»

С началом войны от Украины откололись две части. Первой стала оккупированная территория, второй — миллионы беженцев, уехавших в основном в Европу. Первую от Украины отделяла линия фронта. Что касается вторых, то дистанция между ними и теми, кто остался в стране, медленно, но неуклонно увеличивалась. Дистанция не географическая. Ментальная.

Я ехал и вспоминал разговоры, фразы и слова, которые слышал на протяжении двух лет войны — слова тех, кто проходил через пражский центр оформления беженцев, и вокзал, где я провел добрых полгода. Слова тех, кому помогал открывать бизнес в Чехии. Тех, кто приехал сюда, потому что тут мы. Тех, кто собирался вернуться домой через две недели, ну ладно, два месяца, и не могут поверить, что пролетели уже два года.

Вспоминал большую семью из Новой Одессы Николаевской области, в которой дочь-подросток профессионально занималась греблей.

— Трассу на Вознесенск уже обстреливали, и мы решили переплыть на лодке Южный Буг. Вот так всемером и плыли, с вещами и собакой.

Я пытался найти девушке тренера по гребле в Праге, но она была недовольна.

— Моя тренер жесткая, спуску не дает, а тут все ослаблены. Как только получится, мы сразу вернемся.

Интересно, где они сейчас?

Вспоминал разговор на вокзале в июне двадцать второго, когда уже пустили первые бесплатные поезда обратно в Украину. Рядом со мной оказалась девушка, собравшаяся ехать к стоматологу в активно обстреливаемый тогда Николаев, потому что ставить пломбу в Праге было слишком дорого, и мужчина лет семидесяти, который, услышав об этом, не смог сдержать своих эмоций.

— Я месяц выбирался из Херсона — через Крым, фильтрацию, всю Россию на север и Прибалтику, чтобы наконец попасть сюда. Куда ты едешь, безумная?

Где сейчас они оба?

Вспоминал историю знакомой художницы, которая месяц просидела в подвале в Ирпене и потом с риском для жизни выбралась в Чехию, поступила в художественную академию и была бы полностью счастлива, если бы удалось только запустить проект по сохранению украинских автобусных остановок, оформленных художниками в советское время.

Вспоминал десятки айтишников и айтишниц, которые в двадцать втором дружно говорили о том, что хотят вернуться домой при первой же возможности, а год спустя спрашивали, как открыть бизнес в Чехии и закрыть его в Украине.

— Мы будем показывать здесь все доходы, платить налоги, сделаем все, чтобы получить вид на жительство.

Одна из них потом сказала мне:

— Я смотрю на всех этих украинских бизнесменов, оказавшихся тут, на их дорогие машины и каждую секунду думаю о своем муже, который сидит в Киеве под обстрелами и никуда не может выехать. А я тут сама с двумя детьми, и непонятно, когда все это закончится.

Вспоминал звонки друзей с фронта, которые категорически отказывались говорить о войне: с одним мы обсуждаем забытые детали биографий одесских художников, с другим вспоминаем учебу в Киево-Могилянке. Когда они поздравляют меня с днем рождения и говорят комплименты, мне хочется от стыда провалиться под землю.

Вспоминал нашего друга, профессионального военного, попавшего под обстрел под Харьковом, который чуть не умер от заражения крови в госпитале в Днепре и выжил только потому, что его вертолетом доставили в Прагу, где

после года в военном госпитале его смогла поставить на ноги врач родом из Самары, и он наконец вернулся к семье, давно живущей в Праге — правда, без левой руки. И еще приятеля, который смог чудом демобилизоваться после тяжелой контузии и рассказывал о том, что большинство его побратимов погибли, а остальные мечтают о тяжелом ранении, чтобы наконец вернуться домой.

Вспоминал пост своего друга, лучшего одесского экскурсовода, который недавно пошел добровольцем в ВМС и написал проникновенный пост о том, что «ми абсолютно звичайні, таке враження, що хтось взяв у великий ковш народ, потім протрусив через сито, щоб все унікальне відсіялося, а решту — забрали в нашу казарму». «В моєму взводі є айтишник, зварювальник, електрик, власник віконної фірми, йог, директор магазину кондиціонерів, водій самосвалу, капітан катера, недороблений аспірант, інженер, який проектував цехи збагачення руди...», — написав он. «Жодного героя, жодного Шварцнегера, жодного гарвардського хлопчика, жодного агітатора-патріота, жодного суперсолдата. Ми — просто солдати України. ... Але інших солдат у вас не буде. Будуть такі — Звичайні. І вони будуть робити свою важку військову працю. І за них її ніхто не зробить». Я читав цей пост і сгорав від стыда, тому що він там, а я здесь. Сгорал, хотя и был комиссован много лет назад...

Думал о парнях, которые торопились получить в консульствах по всей Европе новые паспорта, чтобы ни в коем случае не ехать в Украину, и в то же время отправляли туда джипы и дроны. О девушках, которых встречал повсюду, куда только ни попадал: в Германии, Италии, Греции, Франции, Польше — продавщицах, официантках, уборщицах, врачах и банкирах — их историях, мыслях о настоящем и будущем. О наших друзьях и знакомых, чьи дети ужасно стеснялись идти в чешские



школы, а теперь свободно болтают по-чешски и ездят с друзьями в школьные поездки не только по Чехии, но в Париж и Лондон.

Вспоминал слова женщин, которым показывал старую Прагу — из группы, которую собрала моя старая знакомая москвичка, живущая в Праге уже лет тридцать. Женщины были из Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей и возрастом ей под стать, далеко за шестьдесят. Они проводили вместе каждые выходные, ездили по стране, находили самые дешевые маршруты в Париж и Рим, ходили на экскурсии, пели украинские песни. Все они были одиноки, но у каждой горел огонь в глазах.

— Страшно признаться, но мы за два года увидели тут больше, чем за всю предыдущую жизнь.

И одновременно сообщения своих оставшихся в Украине друзей, которые так и не решились связать свою судьбу с армией. «Для меня теперь счастье просто выйти в поле, посмотреть на небо, поймать ночью несколько карасей в ставке рядом — есть-то надо — и вернуться домой незамеченным».

Вспоминал фотографии друзей с недавнего открытия украинского бизнес-клуба в Ницце — все в белом, счастливые и уверенные в себе — и посты множества уехавших после начала войны знакомых, которые радостно делились фотографиями из новых мест, о которых раньше не могли даже мечтать. Из Канады и Великобритании, Штатов и Испании, Ирландии и Швейцарии.

Мы ехали по марсельским улицам, заглядывали в окна вторых этажей домов, пытались дотянуться до росших у обочин платанов, и у жены уже традиционно завыл телефон.

— Мама пишет, что бежит в паркинг. Летит что-то серьезное.

Первым, кого мы увидели, выйдя из автобуса, был фотограф, совсем молодой, почти мальчик, который, радостно сфотографировав нашу дочку, тут же распечатал свежий выпуск импровизированной газеты «Марсельские новости» с ее фотографией на первой странице и подошел к нам.

— Я издали услышал, что вы говорите на нашем языке! Как здорово! Вы откуда?

— Из Одессы, сейчас живем в Праге. А вы?

— Из Чернобаевки. Вы, наверное, слышали это название. Мы никуда не выезжали оттуда с самого начала войны, а два месяца назад решили с другом попутешествовать, поездить по Европе. Сначала были в Польше, потом поехали в Париж, теперь вот тут на ближайшую неделю. Мы уличные фотографы, не знаем еще, где окажемся дальше, решили только, что будем каждую неделю в новом месте. Пока мы во Франции, а где будем в следующем месяце, еще не решили.

Мы слушали, не веря своим ушам.

— Сколько же вам лет?

— Мне только исполнилось семнадцать, другу тоже.

— Что мы вам должны?

— Ничего. Каждый платит столько, сколько сочтет нужным. Рады будем и одному евро.

— Вы могли бы сфотографировать нас всех?

— Конечно! А давайте с нашим флагом, он у меня для таких случаев с собой.

Украина расплылась, разъехалась, растеклась и в то же время живет и дышит вместе, как единый большой организм.

И мало кто из тех, кто убежал от войны или, наоборот, находится в самой ее гуще, знает, где окажется и что с ним будет через месяц.

Уже сидя в самолете, перед взлетом, мы перечисляли вслух те места, куда не успели попасть и где нужно побывать обязательно — вилла Санто Соспир, которую расписал Кокто, вилла Керилос, гимн античности на юге Франции, музей Боннара в Ле-Канне, описанный Зюскиндом Грасс...

Телефон жены снова завыл. Она вздрогнула и выключила звук.

— Снова летит. Боже, как я хочу в Одессу.

## БАВЛА

Что до меня, то я живу в маленьком городе и, чтобы он не сделался еще меньше, охотно в нем остаюсь.

*Плутарх*

— Эту икону из нашей церкви украли дважды. В первый раз её нашли под корнями дерева недалеко отсюда. Другой раз был гораздо интереснее. Её тогда украли по заказу английского коллекционера. Это был конец 1930-х, незадолго до начала Второй мировой, и судно, на котором её должны были переправить в Англию, было последним, которое уходило с Кипра. Вернее, должно было уйти, но так и не смогло — с ним постоянно что-то случалось. Сначала отказал двигатель, ждали команду техников из Италии — судно было итальянским. А когда они, наконец, приехали, оказалось, что с двигателем всё в порядке. Но... вдруг заболел капитан, потом ещё и ещё... Наконец заказчик понял, что все эти странные события происходят из-за иконы. Тогда он передал своим помощникам, которые и выкрали её для него, что им нужно вернуться в Вавлу, позвонить в предзакатный час в колокольчик у дверей нашей церкви — это сейчас звонки электрические, а тогда всё было натуральным — оставить свёрток у порога и быстро уйти, чтобы их никто не заметил.

Но всё пошло не по плану. Во-первых, одного из этих двух узнали, вы же видите, у нас тут сложно остаться незамеченным, деревня маленькая. Тогда, правда, в Вавле жило почти четыреста человек, не то что сейчас. И вот, когда по-

хитители позвонили в колокольчик, за ними уже наблюдали. Быстро собралась толпа. Свёрток открыли и ахнули — икона была разломана пополам, по вертикали. И радость её обретения была омрачена сожалениями о варварском обращении с ней.

Воров задержали, а икону отвезли в Ларнаку, к архиепископу. Он принял решение вернуть её в нашу церковь, но перед этим обрамить и максимально защитить. Видите, мы сделали резной иконостас, он прикреплен к стене, теперь вытащить её невозможно. Мы и фотографировать её запрещаем, но, если вы хотите, я могу стать рядом с ней, тогда можно. Тогда вы будете фотографировать не её, а меня на её фоне.

Рассказывающий мне всё это отец Александр (для иностранцев, как он сказал, Алекс), с аккуратной седой бородой, одетый в чёрную рясу до пят и сандалии на босу ногу, был невысок, улыбчив и чрезвычайно словоохотлив. К тому же он плохо слышал, что давало ему большие преимущества в разговоре — прервать его вопросом было невозможно.

Не прекращая говорить, он встал у иконы Божьей матери с младенцем, показывая всем своим видом, что готов позировать. Я сделал несколько фотографий.

В церкви Святого Георгия, настоятелем которой и был отец Алекс, я оказался случайно. Мне нужно было сократить время. Я ждал художника Паскалиса Анастаси, который однажды приехал в Вавлу, влюбился в неё и остался тут жить. А я приехал сюда ради встречи с ним.

Паскалис задерживался в банке, и я не спеша гулял по деревне, наслаждаясь её светом, эстетикой старых домов и абсолютной, идеальной тишиной, в которой даже пение птиц казалось громким. Даже местные коты, многочисленные, как повсюду на Кипре, вели себя сдержанно. Предгорья Троодоса нависали над крошечной деревушкой, множество домов в которой были заброшены — провалившиеся крыши, распахнутые деревянные двери, за-

росшие травой и кустами дворики. Дети, выросшие в деревнях, уезжают жить в города, и в деревнях остаются старики и чудаки.

Ну что же, тем больше очарование таких мест, тем большее наслаждение испытываешь, приезжая сюда. Даже заброшенные дома невероятно красивы. Так красивы, что хочется сразу же купить один из них, отреставрировать и переехать в него навсегда.

В Вавле всего одна площадь, одна кофейня, много кустов бугенвиллии с розовыми и красными цветами, лимонные деревья, кактусы в рост человека и три церкви — Панагии Агапис, архангела Михаила и Святого Георгия.

В неё, как вы уже поняли, я и зашёл. Просто потому, что на Кипре нужно входить во все церкви, во все монастыри. Ведь это не только архитектурные шедевры, большие и маленькие, но и места с прекрасной энергией.

Церковь была восхитительной. С хорами внутри, барочным потолком, деревянным резным иконостасом и великолепным изображением Святого Георгия, традиционно поражающего дракона, она напоминала все те лучшие образцы греческой церковной архитектуры, которые испытали на себе влияние венецианцев.

Попадая в такие волшебные места, главное — довериться своему инстинкту, и, не думая, идти туда, куда сами несут ноги.

Ноги привели меня к иконе Божьей матери с младенцем, расположенной на стене напротив бокового входа. Внешне неброская, она обладала удивительной энергетикой. Дева Мария, держа левой рукой добродушного и беззаботного младенца, имя которого известно во всём мире, указывала на него рукой правой; он же протягивал руки к ней, глядя прямо на меня. Всматриваясь в строгое лицо Божьей матери, я вдруг совершенно отчётливо ощутил, что существуют носители энергии, отличные от живых существ, отличные от того, к чему мы привыкли. Эта икона совершенно явственно обладала душой. Она излучала благодать.

Наслаждаясь этим открытием, я некоторое время стоял, боясь пошевелиться и спугнуть это чувство, и старался отгонять посторонние мысли. В конце концов мысли победили, я отошёл на несколько шагов, достал телефон и стал искать хороший ракурс для того, чтобы сфотографировать икону.

Тут-то меня и окликнул отец Алекс, внезапно показавшийся из двери в иконостасе.

Ровно в тот момент, когда он закончил рассказ о чудесной иконе, мой телефон зазвонил.

— Я уже приехал, — сказал Паскалис. — Жду вас на центральной площади.

До крошечной площади было рукой подать.

Крепкий, среднего роста, с короткими седыми волосами и коротко подстриженной бородой, Паскалис заулыбался, увидев меня. Пожимая мою руку, он улыбнулся и прищурился так, как это делают близорукие люди.

— Хотите зайти в школу? Посмотреть мои работы?

Разумеется, я хотел.

Одноэтажное, построенное из светлого известняка здание бывшей школы, открытой в Вавле в 1920 году, находилось прямо рядом с церковью. Нынешние дети учатся уже в новой школе, а в этой, старой, много лет уже как открыта выставка работ Паскалиса Анастаси.

Старая кипрская архитектура вызывает у меня трепет безупречностью своей эстетики, и работы Паскалиса были тут более чем уместны. Пейзажи со старыми оливами и родными до боли видами Кипра, городские портреты, а главное — серия портретов старых киприотов. Тех, о ком говорят «соль земли» — крестьяне и портные, сапожники и гончары, каменщики и парикмахеры. Да, парикмахеры — ремеслом этим кипрские мужчины занимаются до глубокой старости, и старые парикмахерские в Никосии с жестяными вывесками пятидесятилетней давности хорошо бы включить в мировое культурное наследие.

Именно изборождённые морщинами лица кипрских стариков на портретах Паскалиса Анастаси поразили меня при первом просмотре настолько, что я решил его разыскать.

Началось всё так. Гуляя по старой Никосии, я увидел галерею Diachroniki. Найти её несложно, она находится за углом от центральной улицы Ледра и в нескольких кварталах от перехода на турецкую сторону. В Никосии я хожу обычно вдоль границы с турецкой стороной, заборов из покрашенных в голубой и белый цвет железных бочек с колючей проволокой поверх них, и стараюсь не пропустить ни единого заброшенного дома в этой бывшей полосе отчуждения. К сожалению, таких домов с каждым годом всё меньше — после нормализации отношений с турецкими властями северного Кипра все они активно реконструируются. Ещё бы, это ведь недвижимость в самом центре. А когда-то, в конце девяностых, когда я только начал приезжать сюда, многие помещения стояли нетронутыми на протяжении десятков лет, с самой войны 1974 года. Дух тревоги и опасности присутствовал тут в полной мере.

Но в очередной приезд сюда вместо привычного маршрута мне захотелось увидеть что-то новое. И ноги сами привели меня в галерею. Не то, чтобы в окнах её были выставлены интересные работы — на Кипре в принципе мало достойных художников. Сам не знаю — может быть, мне захотелось лишний раз в этом убедиться, а, может быть, наоборот, я втайне от самого себя надеялся найти среди груд китча и примитивных салонных работ какое-то скрытое, неведомое сокровище.

Нашёл.

Если первый этаж галереи был с пола до потолка увешан коммерческим хламом, то на втором мне открылась целая вселенная.

Вселенная Кипра.

Я просто не верил своим глазам.



Владелец галереи, Крис Кикас, по кипрской традиции тут же предложивший мне фраппе со сладостями, понял по моему виду, какие чувства я испытываю, и был нескрываемо рад.

— Мы проводим его выставки уже четвёртый раз. Очень хороший художник. Он живёт в крошечной деревне недалеко от Ларнаки.

У меня не укладывалось в голове, как можно выставить такого хорошего художника на фоне того, что было внизу.

— Последние несколько лет он пишет портреты старых киприотов. «Исчезающий мир Кипра» — так он сам называет иногда эту серию. Хотя, на мой взгляд, более уместно называть её «Вселенной Кипра».

Я вздрогнул.

— Прямо как у Адамантиоса Диамантиса, — вырвалось у меня.

— Точно! — расцвёл Крис.

Огромное — в семнадцать метров длиной — чёрно-белое полотно Диамантиса выставлено тут же, в центре старой Никосии, в галерее Левентиса. Это огромная — шестьдесят семь человек — портретная галерея типичных киприотов, священников, ремесленников, крестьян, стариков и детей... Диамантис, учившийся сначала в Панкипрской гимназии, потом в Лондоне — типичная для киприотов история — писал эту фундаментальную вещь пять лет, уже в семидесятилетнем возрасте, объездив весь остров. Чёрный — цвет стариков; но это не только цвет траура, но и цвет национального костюма. Белые рубашки, чёрные брюки, белые и чёрные платья — гамма выбрана Диамантисом безупречно.

У Паскалиса Анастаси чёрного практически нет. Он, годящийся Диамантису во внуки, пишет Кипр современный, но идеи их абсолютно созвучны.

Крис Кикас без раздумий дал мне его номер, и спустя неделю я уже рассматривал работы Паскалиса в деревенской школе.

— Хотите посмотреть мой дом и мастерскую?

— Конечно.

— Садитесь ко мне в машину, сам вы дорогу не найдёте.

Мы выехали с центральной площади, повернули метров через сто на боковую дорогу, с неё — на пыльную грунтовую, едва заметную среди кустов и оливковых деревьев.

Вокруг не было ни души.

Через несколько минут дорога упёрлась в невысокие железные ворота, через которые мог бы перелезть любой желающий. Никакого забора ни одну, ни в другую сторону от ворот не было — разве что невысокие редкие кусты создавали иллюзию ограждения.

— Это скорее от овец, — улыбнулся Паскалис.

Мы въехали вовнутрь, на участок, и он поставил машину под навесом.

Я вышел и охнул.

Вид, который открывался передо мной, был невероятным. До самого горизонта тянулись холмы, предгорья Троодоса, слева, вдалеке, виднелась полоска моря, прямо, почти у горизонта — водная гладь водохранилища, дамбы Калавасос, одной из тех, куда традиционно стекают сейчас кипрские реки и ручьи.

А главное — нигде, куда падал взгляд, не было ни единого человека. Ни единого следа его присутствия. Ни дорог, ни домов, ни машин — ничего.

Царило абсолютное безмолвие.

— Я здесь совершенно один, — словно прочитав мои мысли, сказал Паскалис. — Ради этого я и купил двадцать лет назад этот участок. Со мной только мой пёс и коты. Всё, что вы видите, я построил сам, своими руками.

А построил он дом, мастерскую и гараж.

— Я увидел объявление о продаже участка в газете. В тот момент я ничего не знал об этой деревне. Конечно, я много ездил в Лефкару, но по другой дороге. До того, после возвращения из Англии, жил в Лимассоле. В общем, приехал посмотреть участок и понял, что никуда уже отсюда не уеду. Кроме этой вот каменистой земли, здесь не было ничего. Никаких коммуникаций — ни воды, ни канализации, ни электричества. Пришлось проводить всё самому. Но все неудобства испытал этот вид и эта тишина. Хотя... Какие неудобства. Работа тут — в радость. Представьте, раньше, до пожара, все эти холмы были сплошь покрыты соснами.

— Неужели так много сгорело?

— Да. Это было в две тысячи первом. Поэтому я считаю, что нам на Кипре лучше высаживать оливы или розковое дерево — они после пожаров отрастают, а сосны уже нет. Просто сгорают, как свечки, и не вырастают снова. Хотите посмотреть мастерскую?

Конечно, я хотел.

Вся мастерская была увешана портретами. Вдоль стен тоже стояли десятки холстов.

Паскалис начал показывать мне работу за работой.

— Это Марина, она живёт в Лефкаре, вернулась туда из Лондона. Искусство плетения кружева передаётся там по женской линии. Она там сама, дети живут в разных странах. Вы бывали в Лефкаре? Видели, сколько там пустых домов? Много. Как и в нашей деревне.

Я кивнул.

— Это Тасос, пастух из заброшенной сейчас деревни Парсата. Это Михалис, портной из Ларнаки. Это Васос, он тоже из Ларнаки, всю свою жизнь он делает деревянные стулья и кресла. Это Пантелис, плотник, тоже из Ларнаки. Это Йоркис, каменщик из деревни Ора, она недалеко отсюда. Это Ахиллеас, сапожник из Никосии.

Ахиллеаса я знал. Его небольшую, пыльную и захлавленную до невозможности мастерскую я нашёл как-то в двух кварталах от линии разграничения, а встречу с ним помню так ярко, словно она была вчера. Пройти мимо его мастерской было невозможно — вход в неё был увешан самодельными плакатиками с духоподъёмными надписями вроде таких:

«Мы должны судить друзей по их поступкам, а не по их словам».

«When nothing goes right, go left».

«Fashion is what you buy. Style is what you do with it».

Ну, а внутри чего только не было — помимо собственно ремесленных принадлежностей, каждый квадратный сантиметр был увешан иконами, афишами, фотографиями самого Ахиллеаса и членов его семьи и, конечно же, пожелтевшими от времени газетными вырезками, в которых рассказывалось о нём. В момент нашей встречи ему было семьдесят четыре.

Я не знаю, когда он успевал работать — мы болтали с ним тогда почти час, и приподнятое настроение сохранялось у меня весь день. Хотя, пожалуй, работать ему было уже не нужно. Он приезжал в свою мастерскую общаться. Вот и на портрете работы Паскалиса он позирует не с ботинком или сапожным молотком, а играет на флейте.

— Это Михалакис, серебряных дел мастер. Он из Лефкары, — продолжал Паскалис. — Это Диаманто, ткачиха из деревни Фити под Пафосом. Это Мария, она гончар, живёт в Пареклисии. Это Михаил, реставратор мебели из Ларнаки...

— Вы ездите по всему острову, как это делал когда-то Диамантис!

— Да. Он вдохновил меня. Я назвал эту серию «Исчезающий мир». Все эти ремесленники, люди, которые умеют работать руками, которые являются сокровищем, нашим культурным наследием, все они исчезнут. Скорее всего, скоро. А мастерские их перестроят под какие-нибудь кафе

или просто снесут. И я чувствую, что моя обязанность — отдать им дань уважения и благодарности. Я признателен им за то, что они согласились мне позировать. Хотите кофе?

— Конечно.

— Идёмте в дом. Я сварю.

Кипрский кофе, сказать по-правде, ничем не отличается от турецкого или греческого, но это совершенно не важно, потому что он великолепен.

Дом Паскалиса, как и мастерская, был сделан из светлого, едва обработанного ракушечника, пол — из белого камня, и в холле были распахнуты окна. По кипрской традиции стол стоял сразу же при входе, его окружал большой угловой диван. Паскалис ушёл вовнутрь, на кухню, усадив меня на этот самый диван, откуда открывался просто невероятный вид. Открытое настежь окно служило рамой, а картиной в ней были высокая трава, огромное оливковое дерево и уходящие за горизонт холмы.

Жаркий кипрский воздух заполнял собой всё пространство; дом и его посетители словно купались в нём.

Пока я ждал Паскалиса, пришёл один из его котов и молча улегся мне на колени.

— Этот — самый общительный, — сказал Паскалис, открывая дверь и вынося поднос с кофе и лукуми. — Следите только, чтобы он не съел ничего из вашей тарелки.

— У вас потрясающий вид, — сказал я ещё раз. — Тут можно сидеть часами, ни о чём не думая и просто наслаждаясь им. Я как-то прочитал историю о европейских туристах в Японии, которых привезли любоваться Фудзиямой и оставили на час. Оказалось, что это для них очень долго. Когда водитель забирал их, то был искренне удивлён их возмущению — ведь обычному японцу не хватит и дня, чтобы насладиться красотой Фудзи. Так вот, тут, у вас, туристы точно провели бы минимум полдня без всякого возмущения.

— Да, вы уже поняли, что ради этого вида я и перебрался сюда. А ещё — ради тишины и уединённости. Именно тут настоящий Кипр.

Это было правдой. Очень скоро после того, как я начал приезжать на остров, я понял, что настоящий Кипр — вовсе не туристический, вовсе не пляжный. Настоящий Кипр — деревенский, традиционный. Настоящий Кипр — это шёпот ветра в кронах деревьев, негромкое пение птиц, звенящая тишина в закатный час, когда с холмов и гор Троодоса виден горизонт, и горизонт этот — бесконечное море во все стороны.

— Сколько людей сейчас живёт в Вавле? — прервал я наше молчание.

— О, у нас быстро растёт население. Когда я приехал сюда, тут жило сорок человек. А сейчас уже сорок пять. Не так давно ко мне приезжал клиент из Сингапура. Он сказал, что ровно столько же людей живёт на одной лестничной площадке его дома.

Мы замолчали. Я думал о том, что Паскалис после многих лет исканий нашёл своё предназначение, и заключается оно в том, чтобы продолжать писать непрерывную летопись Кипра. Плести веретено истории. Прямо как деревенские ткачихи на его работах, или, почему-то подумалось мне, как мойра Клото.

И это очень по-кипрски. Эта традиция укоренения на одном месте меня поражает меня до сих пор, хотя я уже привык к этому. Не ездить по миру в поисках лучшего места и лучшей работы, не гнаться за успехом, не пытаться устроиться в компании с громкими именами, а просто делать своё дело на одном месте на протяжении всей жизни — кипрская традиция, которая, к счастью, ещё жива. И люди, которые её поддерживают, кажутся мне скромными героями.

И главное тут — верность месту, верность этому крошечному острову, зелёно-золотому листу, брошенному в Средиземное море.

Стояла абсолютная тишина, нарушаемая только порывами ветра и периодическим стрекотом цикад.

Наконец Паскалис прервал молчание:

— В церкви Святого Георгия, как я понял, вы уже были. Отец Алекс очень разговорчивый, правда? Он долго жил в Америке, потому у него такой хороший английский. Но раз уж вы тут, съездите обязательно в маленькую церквушку Панагия тис Агапис. Она в трёх километрах вверх, в горы. Это волшебное место.

Раз уж человек, выбравший такое место для своего дома, отзывался о чём-то как о волшебном, ехать нужно обязательно.

— Я готов поехать прямо сейчас.

— Давайте я отвезу вас обратно, к вашей машине.

Он привёз меня на единственную площадь Вавлы. Мы обнялись, я пересел в свою машину и попытался найти на навигаторе церковь Богородицы Любви. Навигатор ничего не показывал, и я решил ехать наобум, благо, дорог наверх было всего две.

Та, которую я выбрал, конечно же, вела не туда, что я довольно быстро понял и развернулся. Зато вторая оказалась правильной и шла по всё более и более живописным и всё более и более безлюдным местам.

Наконец, переехав через небольшой ручей, возле которого я, конечно же, остановился и окунул руки в воду, ведь ручьи на Кипре — это экзотика — я увидел её.

Ошибиться было невозможно. Это была та крошечная церквушка в рост человека, которых так много на острове, особенно в малолюдных местах — сложенная из почти необработанного камня с вкраплениями плоских кирпичей, единственной дверью, в которую нельзя войти, не скло-

нившись, покрашенным в ослепительно белый цвет полукруглым куполом и маленьким колоколом, висящим снаружи.

Конечно же, я сразу же тихонько в него позвонил.

«Chapel Panagia tis Agaris» — гласила белая надпись на невысокой коричневой доске возле входа.

Огромный эвкалипт, растущий возле входа, был по кипрской традиции увешан разноцветными ленточками, которые повязывают, загадывая желание. Весь ствол его был изрезан сердечками и инициалами. Большой стол под эвкалиптом был сплошь покрыт именами влюблённых.

Понятно, какие желания загадывали тут, возле церкви, посвящённой любви.

Я отодвинул деревянную щеколду и вошёл вовнутрь. Маленькие кипрские церквушки на замок не запираются.

Церковь, построенная в 1934 году на основе старой, появившейся тут в шестнадцатом веке, была тем же типичным кипрским смешением византийского и венецианского архитектурных стилей. Прямо напротив входа стояла копия той самой иконы Богородицы любви, которую я увидел первым делом в Вавле. С подсвечников, стоящих рядом, гроздьями свисали восковые сердца. На небольшом столике у входа лежало множество записок с просьбами, которые нужно упомянуть во время службы, а с небольшого иконостаса у алтаря на меня смотрели святые Иоанн и Пантелеймон.

Всё это было живописно и трогательно. Но главное — тут совершенно отчётливо ощущалось присутствие светлой энергии.

Паскалис был прав. Это было необыкновенное место. Восторженная благодать постепенно, но уверенно охватывала меня.

Я вышел наружу. Абсолютную тишину нарушал лишь негромкий шум ручья и шелест листьев эвкалипта. Горы, окружающие это место со всех сторон, давали чувство уединения и защищённости.



Мысли мои текли свободно, легко и беспрепятственно.

Я стоял и думал о том, что же такое любовь. Вне всякого сомнения, любовь — это энергия. Энергия, главное предназначение которой — объединять людей.

Состояние, в котором мысли текут сами собой и ты не пытаешься рефлексировать, очень сложно поймать и легко утратить. Я старался не фиксироваться ни на чём и просто отпустить поток, влиться в него.

То, что я пишу сейчас — попытка позднейшей фиксации.

Я думал о составляющих собственной души. Что это — воля, разум и чувства? Или желание, энергия и интеллект? Энергия нравится мне гораздо больше, чем воля, ведь воля — это энергия, окрашенная желанием, а желания чаще всего вызываются разумом, или интеллектом. Короткая воля — окрашенная чувством энергия, с длинной волей иначе, это уже энергия, направляемая разумом.

За наши представления о добре и зле, конечно же, отвечает разум. Но, может быть, любовь — это тоже энергия, окрашенная желанием?

Мысли, словно лёгкие облака, вплывали в моё сознание и позволяли себя созерцать, но при попытке фиксации испуганно улетучивались. Стройную концепцию трёх составляющих души так и не удалось додумать до конца.

Единственное, что было понятно совершенно точно, так это то, что самое важное в жизни — это происходящее здесь и сейчас.

Потом в сознании вдруг всплыли несколько фраз:

«Я — источник света, источник внимания, источник мысли.

Я задаю вопросы, и я же на них отвечаю.

Я — самосущее самосознание».

И сразу включился критик:

«Но только ли само-сознание? Само — в том смысле, что познаю и осознаю сам? Несколько самонадеянно. Гораздо очевиднее, что без подсказок свыше я ничего не могу познать, что я лишь улавливаю то, существует вокруг меня, вокруг всех нас».

Благостное течение мысли начало прерываться. Радость такого состояния всегда в том, что вне зависимости от истинности или оригинальности предположений испытываешь чистую и незамутненную радость от самого процесса мышления, от его плавности, непрерывности.

Ведь, как утверждают даосы, невозможно прямо проникнуть во внутреннее, а любое прямое действие ведёт только вовне. Когда мы пытаемся попасть вовнутрь, нас неизбежно выталкивает наружу. А знание управляется недеянием. В недеянии оно производится, но им нельзя управлять, его нельзя применять и нужно отпускать. Знать что-то — значит забыть что-то.

И без того замедлившийся ход моих мыслей прервало внезапное появление из-за поворота дороги старого джипа, поднявшего облако пыли.

Джип остановился возле эвкалипта, из него вышел весьма пожилой мужчина в форме цвета хаки, весьма похожей на военную.

— Вы тоже приехали в храм, чтобы найти Бога? Я живу тут всю жизнь и каждый день вижу людей, которые молятся в этой церкви. Неужели они не понимают, что Бога в церкви нет? Он есть в душе каждого из нас, и не нужно никуда ехать, чтобы его найти. Достаточно иметь с собой Библию! Вот, позвольте, я вам подарю.

С этими словами он открыл заднюю дверь и взял с полностью заваленного книгами сиденья Библию на греческом.

— Спасибо, но я, к сожалению, не читаю на греческом. И у меня есть Библия.

— Нет, подождите, я сейчас найду на английском, — сказал он и зарылся в книги минут на пять.

Потом разочарованно повернулся ко мне:

— Не могу найти. Ещё вчера была. Но вы обязательно помните — чтобы найти Бога, не нужно ходить в церковь! Бог всегда с вами.

С этими словами он сел в машину, и, снова подняв облако пыли, уехал.

Что же, пора было ехать домой.

Я наконец взглянул в телефон и удивился — полтора часа пролетели незаметно.

В том, что Бог внутри каждого из нас, вернее, все мы внутри него, нет никаких сомнений. Но для того, чтобы хотя бы отдалённо его почувствовать, как раз и нужны места, подобные этому. Места с хорошей энергией. Ведь большую часть жизни мы проводим в забвении, занимаясь чем и кем угодно, но только не собой, думая о ком и чём угодно, но только не о себе. И если уж и вспоминать о долге, нужно отдавать себе отчёт в том, что наипервейший долг у каждого человека — перед самим собой.

Внизу, у Вавлы, со мной поровнялся ехавший навстречу мотоцикл. За рулём был парень в кожаной куртке. Девушка в красном платье сидела сзади, крепко его обняв.

— Вы не подскажете, как проехать к церкви Панагии Агапи? — весело крикнули они одновременно.

— Вы едете правильно. Километра три по этой дороге наверх.

Они кивнули и умчались вперёд.

Возвращаться из тишины предгорий Троодоса в суету Лимассола совершенно не хотелось, и тут я вспомнил о том, что за много лет так и не увидел памятник Зенону в Ларнаке — бывшем Китионе. Полпути до него я уже проделал, так что колебаний не было.

Все, кто часто путешествуют автомобилем, знают, что половину времени в любой поездке занимает сейчас не поездка между городами, а навигация в самом городе. И даже в небольшой и малопривлекательной Ларнаке пришлось стоять на светофорах, оглядывая окрестности, но глазу было совершенно не за что зацепиться.

Интересно, как выглядел Китион, откуда Зенон уехал в двадцатидвухлетнем возрасте? Нам известно лишь то, что на родину он из Афин так и не вернулся, хотя, как и в Афинах, его статую в древнем Китионе соотечественники считали украшением города.

Набережная Фуникудес была пустынной, почти безлюдной. Накрапывал такой редкий для Кипра дождь. Когда навигатор показал мне, что мы достигли места назначения, я поначалу не понял, в чём дело. Добрую половину набережной занимали детские аттракционы — огромное колесо обозрения, качели с каруселями, железная дорога с паровозом и вагончиками. Всё они были окружены железной оградой, и, пройдя вдоль неё, я обнаружил Зенона, хладнокровно стоящего рядом с миниатюрными американскими горками. Левой рукой он поддерживал хитон, из-под которого выглядывали босые ноги в сандалиях, точь-в-точь как у отца Александра.

Аттракционы были закрыты, но сфотографировать сына финикийца Мнасея из-за забора я посчитал унижительным и отправился на поиски входа, лазейки. Возле входа две части забора были расцеплены, я отодвинул одну из них и вошёл вовнутрь. Двое мастеров проверяли работу огромного качающегося пиратского корабля; увидев меня, они замахали руками — нельзя, закрыто. Я объяснил, что хочу сфотографировать Зенона. Один замотал головой, другой кивнул, и я пошёл дальше.

Великий философ сосредоточенно смотрел в сторону моря. Казался ли он бесстрастным, как полагается мудре-

цу? Мне так не показалось. Но его в любом случае никак не беспокоило непочтительное к нему отношение организаторов всего этого детского великолепия.

И мне вспомнилась поездка в Бордо, где дождливым осенним днём мы искали памятник одному из лучших мыслителей, чьи убеждения вырабатывались под сильным влиянием стоиков. Высеченный из камня Мишель де Монтень спокойно стоял посреди огромного, шумного, многолюдного парка аттракционов; всем его посетителям было совершенным образом наплевать как на философа, так и на философию, и никто из охранников, проверяющих посетителей на предмет наличия опасных предметов, не смог ответить нам на вопрос о том, где находится памятник.

В конце концов, мы просто уткнулись в него на одной из аллей.

\* \* \*

В Лимассол я вернулся уже затемно. На ночь читал о Зеноне у Диогена Лаэртция. Спал плохо — переполняли мысли.

Рано утром я написал сообщение Паскалису:

«Я хотел бы снова приехать к вам. Позировать. Хотя я и не ремесленник, мечтаю попасть в портретную галерею киприотов».

«Приезжайте», — пришёл через несколько минут ответ Паскалиса.

## ЛЕФКАРА

— Если у вас сейчас нет наличных, вы можете заплатить в следующий раз. Я вам доверяю, — сказала Мария, хозяйка большого кафе на окраине Лефкары, глядя на кредитную карточку в руках Миши, моего израильского друга.

К Марии мы попали случайно — наше любимое кафе «Tasties», в котором я как-то отравился осьминогами, вымоченными в вине, оказалось закрыто.

— Сегодня проблемы со связью — не получается провести кредитные карты, — продолжила Мария. — Но я вам доверяю — у меня в Израиле много друзей, и все они хорошие люди. Несколько пар живут на Кипре постоянно и по выходным приезжают ко мне обедать. Так что заплатите в следующий раз — это не проблема.

Нам нужно ехать в аэропорт. Даже не ехать, а мчаться.

Мы с сожалением оглядываем стол, от края до края уставленный тарелками, большинство из которых опустошить не удалось — мы заказали мезе.

Третий день наши израильские друзья Миша и Ира не перестают удивляться. Началось всё в Пафосе, когда я заболтался, проехал под «кирпич» и выехал на встречу. Дорога узкая, и мы едва разъехались с машинами, едущими в правильном направлении. Каждый из водителей встречных машин открывал окно и объяснял мне, улыбаясь, что я еду не туда. Не совсем верно. Немного нарушил. Не страшно, конечно, всё равно разъедемся. С кем не бывает.

— Это что-то! — воскликнула Ира. — Никто из них не кричит, не ругается, не показывает неприличные жесты. У нас бы тебя уже обругали с ног до головы. Это что-то!

— Ира, не позорь Израиль, — ответил ей Миша. — У нас тоже встречаются доброжелательные люди.

После двух сумасшедших дней, за которые мы успели объехать половину острова, друзья улетают. Но мы не хотим терять время. Каждую свободную минуту нужно использовать. Поэтому по дороге в аэропорт — Лефкара.

Лефкара — это «восклицательный знак» перед отъездом. Мы решили сразить друзей окончательно. Ещё бы — сам Леонардо да Винчи остался под впечатлением.

Пока мы пробирались по узким улочкам, они, не переставая, восхищались и снимали всё вокруг на свои смартфоны. Ярко-синие стены домов, распахнутые настежь двери, через которые можно рассмотреть многочисленные фотографии родственников на столиках в гостиных — непременный атрибут кипрских домов. Ажурные балконы, резные разноцветные двери, лавочки с обязательными кружевами и серебром. И, конечно же, церковь Тимиу Ставру, Святого креста, возведённую в типичном для Кипра франко-византийском стиле.

Именно у неё мы и оставили машину, именно у неё и увидели вывеску «Таверна “У Марии”».

— Вам нужно сейчас спуститься вниз, затем резко повернуть налево вверх и около полиции, на выезде из деревни, снова повернуть налево, — сказала вышивающая кружева пожилая женщина, увидев, что мы разглядываем вывеску. — Через триста метров на холме вы увидите таверну.

— Там вкусно? — спросил Миша.

— Очень, — ответила женщина, не прекращая вышивку.

И вот мы здесь. Таверна «У Марии» оказалась вишенкой на торте. Точкой в восклицательном знаке.

Мы всё-таки нашли наличные, и Мария ушла за сдачей.

— Обычно киприоты рассказывают тебе за пять минут всю свою жизнь, — говорю я. — Мы как-то ехали из Полиса в Пафос и остановились у фургончика выпить фраппе. Хозяин, мужчина лет шестидесяти, сел рядом с нами за стол — знаете, такой дешёвый пластиковый белый стол с такими же стульями, и рассказал о том, что почти всю свою жизнь он прожил в Южной Африке, о том, как он специально прилетел оттуда в родную деревню, чтобы украсть свою несовершеннолетнюю невесту, будущую жену, потому что родители её не давали согласия на их брак, и они убежали в горы, а на третий день родители сдались; он увёз её в Йоханнесбург, через тридцать лет они вернулись домой — всё же родина есть родина; они живут вместе до сих пор, правда, в разных домах — он в доме родителей в деревне, она — в Лимассоле, поближе к детям, встречаются на выходных, это понятно — за столько лет устали друг от друга; месяц назад он попал в аварию и переосмыслил после этого всю свою прошлую и — в основном, — будущую жизнь.

К тому моменту, когда мы допили фраппе, мы знали об Андреасе всё. Я даже запомнил его имя.

Мария принесла сдачу.

— Видите машину внизу? Это моя дочь, она едет из Ларнаки, с собеседования — пробует устроиться в аэропорт, работать на регистрации. Я очень волнуюсь, ведь ей уже двадцать четыре, и она до сих пор не может найти себе хорошую работу.

— А кто она по профессии? — спросил Миша.

— Учитель младших классов. Но вы же знаете, как долго приходится ждать свою работу в школе — все места заняты. У моего мужа есть такси, и дочь иногда помогает ему, но что это за работа — раз в два-три дня отвезти ко-



го-то в аэропорт. Да и не очень безопасно для молодой девушки. У сына тоже нет работы, зато он недавно женился, они живут с нами, и моя невестка очень меня любит. Я уже жду не дождусь, когда стану бабушкой.

— У вас невероятно вкусная еда, — сказал Миша.

— Это потому, что я готовлю её от всего сердца, — улыбнулась Мария. — Тогда раба!

Мы заторопились к машине. Сесть в неё сразу было невозможно — жарко. Мы открыли двери, чтобы проветрить салон. Внизу лежали черепичные крыши Лефкары, а за ними, до самого моря — едва покрытые зеленью живописные холмы.

— Когда на обед у тебя мезе, легко опоздать в аэропорт, — сказал я.

— Это что-то, — сказала Ира. — За пять минут — всю свою жизнь. Это что-то.

— Да ладно. У нас тоже так бывает, — сказал Миша.

— У нас дома — никогда, — сказал я и нажал педаль газа. Плавно набирая скорость, мы поехали по серпантину к виднеющейся вдали автостраде.

## ЛУЧШИЙ ДЕНЬ НА КИПРЕ

Лучший день на Кипре — это ветренный день в середине января; огромные волны накатывают на берег, с силой бьют о скалы, у которых Афродита вышла на берег, и кажется, что перед тобой не море, но океан; от красоты захватывает дух, и ты едешь дальше, в Пафос, на набережной его пустынно, одинокие туристы, пряча головы в капюшоны, бегут под защиту стен в кафе; ты тоже заходишь в него, садишься как можно ближе к морю; волны с шумом ударяются о берег и откатываются назад, перебирая камни. Слушать этот звук и смотреть на море можно бесконечно, ты надолго погружаешься во всё это и одновременно в себя, и только вежливое покашливание хозяина кафе возвращает тебя к реальности — все столики пусты, ты в кафе один, хозяин хочет домой, и ты недоумеваешь — зачем идти домой, если здесь так хорошо?

\* \* \*

Лучший день на Кипре — это жаркий летний день, когда Хрисоху бэй лежит перед тобой на ладони, и только дальний берег, где расположена та самая загадочная турецкая деревня Коккину, в которую ты давно собираешься заехать, но никак не хватает времени — так вот, только дальний берег укутан лёгкой дымкой, и ты берёшь напрокат моторную лодку в Лачи, и плывёшь на ней в Голубую лагуну, плывёшь против ветра, и брызги окатывают тебя с ног до головы, а потом бросаешь в лагуне якорь, и плаваешь, и ныряешь там до изнеможения.

\* \* \*

Лучший день на Кипре — это январское воскресенье, в Троодосе выпал снег, и ты рано утром выезжаешь туда, надев на себя все тёплые вещи, которые были в доме, и мучительно думая, удастся ли доехать до Олимпуса на летней резине. Пейзаж по дороге сменяется от летнего до зимнего, ты всё чаще видишь апельсиновые деревья, покрытые снегом, останавливаешься на кофе в Платресе, и вот наконец Олимпос, ты берёшь лыжи напрокат и катаешься до изнеможения, а дети тем временем ждут тебя в Троодосе, где катаются на санках, и когда ты приезжаешь, они уже все мокрые и счастливые, и вы идёте в ресторан в отеле, и после ужина долго сидите у камина, глядя на потрескивающие в камине дрова и думая каждый о своём.

\* \* \*

Лучший день на Кипре — это когда ты находишь в своей деревне потрясающий монастырь святого Георгия с пещерной церковью, спрятанный в ущелье; монастырь окружён старыми оливами и рожковыми деревьями, в толстых растрескавшихся стволах которых живут огромные ящерицы. Вечереет, вокруг разлита абсолютная тишина, нарушаемая лишь изредка трескотнёй цикад; тыходишь в монастырь, в нём нет никого, совершенно никого, в пещере перед иконами горят свечи, и кажется, что время остановилось или даже пошло вспять; ты выходишь наружу и видишь настоятеля, который рад тебе, хотя вы виделись всего однажды, в деревенской церкви, и тут же лезет в карман за конфетой для твоего сына, потому что он запомнил его, он вообще, кажется, помнит всех в деревне, и, как любой киприот, глубоко убеждён в том, что все дети должны быть счастливы.

\* \* \*

Лучший день на Кипре — это летний день, проведённый у Петра-ту-Ромиу, скалы, у которой вышла на берег из пены морской Афродита; после того, каккупаешься вволю и вдоволь налюбуйешься закатом, ты дожидаясь, когда с пляжа уйдут все, абсолютно все, и на нём останетесь только вы с любимым человеком, только вы вдвоём, только вы и море, только вы и звёзды, только вы и ночь; вы будете лежать на камнях у кромки воды и, взявшись за руки, смотреть вверх, на звёзды; вокруг будет тихо, абсолютно тихо, и только волны, накатываясь на берег и уползая с него, будут тихо перебирать камни, словно монах перебирает чётки; на воде будет лунная дорожка, и вам будет казаться, что в ней вот-вот покажется Афродита, и вновь она выйдет из пены морской на берег и пройдёт рядом, совсем рядом с вами, так, что вы услышите её дыхание.

\* \* \*

Лучший день на Кипре — это весенний день, в Никосии гром и ливень, вечереет, ты садишься в машину и едешь в Лимассол, и по дороге вдруг решаешь свернуть и подняться в монастырь Ставровуни; поднимаешься выше и выше в гору, и перед тобой открывается потрясающая панорама — залив Ларнаки, огни города, горы и долины в туманной дымке; сосны после дождя пахнут невероятно; въехав в ворота, ты оставляешь машину у церкви «Всех святых Кипра» и идёшь вверх, в монастырь; вокруг никого нет, монастырь должен быть закрыт, но — о чудо, — тяжёлая железная дверь неожиданно открывается; сердце гулко стучит, ты взбегаешь вверх по ступеням, входишь в здание, уже слыша голоса монахов, поющих ве-

черную службу; заходишь в церковь, видишь сосредоточенные лица седобородых старцев и тихо, почти на цыпочках выходишь, стараясь ничем не потревожить их молитву, спускаешься вниз и в абсолютной тишине любишь островом, раскинувшимся перед тобой.

\* \* \*

Лучший день на Кипре — это каждый день.

\* \* \*

На Кипре трудно сочинять  
От сочинительства отвлекает наслаждение  
Всё время чем-то наслаждаешься — рано утром ярким солнцем

Цветом морской воды, красными и жёлтыми цветами

Рассыпанными на деревьях и кустах

Днём едой и прохладой кондиционера

Холодным кофе и полудрёмой в тени

Вечером — спектаклем в старинном амфитеатре и

Общением с друзьями в переполненном кафе

Ночью — пением цикад и небом, усыпанным звёздами

Всё время отвлекаешься на что-то хорошее и важное

\* \* \*

Пафос

Одеон

Электра

Две тысячи лет назад драму играли тут же

Так же

Те же

\* \* \*

Тридцать пять в тени

Вроде привык к жаре, но

Шатаясь, бредёшь домой  
В нокдауне от теплового удара  
Кипрский полдень

\* \* \*

В нашей деревне  
Время летит быстро  
Только поспевай  
Те, кто не успевают за временем  
Остаются жить в прошлом  
Так и я  
Решил подождать, когда оно  
Совершит круг  
И вновь вернётся ко мне  
Выпью пока холодный кофе

\* \* \*

Много Луны  
В тёплой воде  
Местный старожил  
Рассказал нам по секрету  
Что в такие ночи  
Сюда приходит купаться сама Афродита  
Ждём

## О МУЗЫКЕ

Человек не может представить свою жизнь без изменений. Изменения — это надежда на лучшее, это путь к получению благодатного плода непрерывных усилий, это неясное предчувствие будущего счастья. Но иногда, рано утром, находясь на тонкой грани между сном и пробуждением, в те секунды, когда душа наиболее чувствительна к прекрасному, мне очень хочется стать беззаботным героем картины Фрагонара или Буше — да-да, именно рококо — или застыть в образе изящной фарфоровой статуэтки, но чаще всего хочется стать просто музыкой.

## СОДЕРЖАНИЕ

Тцара без бровей .....	5
Человек с безупречным вкусом.....	24
Парящее остриё.....	30
Экспрессионист .....	71
Требник троих.....	88
Поэт Тончайших.....	92
Sub rosa.....	93
Несколько слов о смысле жизни .....	96
Два папы .....	100
Олег Аркадьевич.....	103
Реваз Леванович .....	106
Часть вторая.....	109
Борхес и он .....	110
Immigrant song.....	113
Вавла.....	131
Лефкара.....	149
Лучший день на Кипре .....	153
О музыке.....	158



Літературно-художнє видання

СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»  
Заснована у 2023 році

**Евгеній ДЕМЕНОК**

ЧЕЛОВЕК  
С БЕЗУПРЕЧНЫМ ВКУСОМ

*(російською мовою)*

Макет обкладинки і верстка  
Друкарський двір Олега Федорова  
Формат 60x84 1/16. Наклад 150 прим. Зам. № 7202  
Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 10  
Гарнітура «Cambria».  
Підписано до друку 12.09.2024 р.

Видавець Федоров О. М.,  
«Друкарський двір Олега Федорова»  
Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,  
e-mail: [relaks-oleg@ukr.net](mailto:relaks-oleg@ukr.net)

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,  
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції  
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»  
Адреса: 07400, Київська обл.,  
м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148  
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,  
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції  
серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



Родился в Одессе в 1969 году. Живёт в Праге. Писатель, журналист, историк искусства. Один из создателей литературной студии «Зелёная лампа» при Всемирном клубе одесситов. Автор книг «Ловец слов» (2012), «Новое о Бурлюках» (2013), «Казус Бени Крика. Рассказы об Одессе и одесситах» (2015), «Вся Одесса очень велика» (2016), «Давид Бурлюк. Инстинкт эстетического самосохранения» (2020), «Свежий ветер с моря. Записки одесского путешественника» (2020), «Место силы» (2023) и других. Лауреат Одесской муниципальной премии имени Паустовского, Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка.



ДРУКАРЕВСКИЙ ДВІР  
ОЛЕГА ФЕДОРОВА

